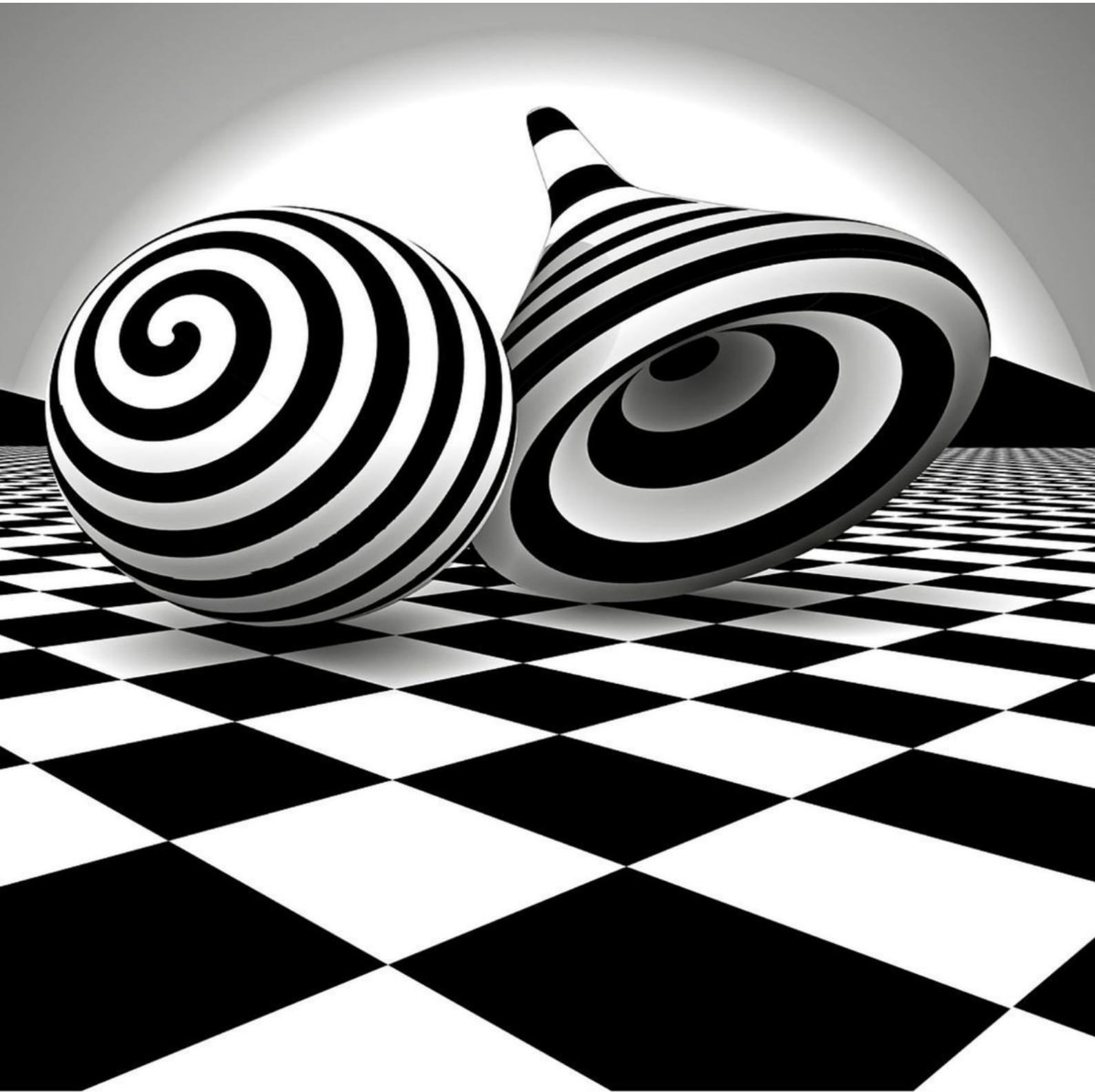




Инь и Янь

Сергей Корнев

- Рассказы - Новеллы - Истории -

Сергей Корнев

**Инь и Янь. Рассказы.
Новеллы. Истории**

«Издательские решения»

Корнев С.

Инь и Янь. Рассказы. Новеллы. Истории / С. Корнев —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835185-3

Кем бы человек ни был — его жизнь уникальна. У каждого свои сев и жатва. По себе создаёшь мерки, которыми измеряешь мир. И ими же мир измеряет тебя. Эта книга посвящается современному человеку. Тому, кто читает эти строки. У неё есть что рассказать ему. Каждый рассказ — чья-то жизнь. Нет единой темы, ведь все люди разные. И единого жанра тоже нет: у кого-то сказка, у кого-то суровая проза бытия. Герои едины лишь в том, что ничего не скрывают. У этой книги правило: только правда, так интереснее. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-835185-3

© Корнев С.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Инь	7
Библиотека	7
Материнский инстинкт	12
Такие странные сны в стиле фьюжн	18
Буддийская зима	50
Жалюзи, или Доспехи ревности	54
Осколки, или Сделай мне больно	57
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Инь и Янь Рассказы. Новеллы. Истории

Сергей Корнев

Рисунок на обложке Pixabay

Макет обложки Canva

© Сергей Корнев, 2019

ISBN 978-5-4483-5185-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Кем бы человек ни был – его история жизни уникальна. У каждого своё семя и свой урожай: сеешь, а потом жнёшь. По себе создаёшь мерки, а потом ими измеряешь весь мир. И ими же мир измеряет тебя. Твой мир – отражение тебя самого. Если твой мир тёмный, то это в тебе тьма, если светел – то это в тебе свет.

Эта книга посвящается современному человеку. Тому, кто сейчас читает эти строки. У неё есть, что рассказать ему.

Каждый рассказ – это чья-то жизнь, выраженная в словах. Нет единой темы, её и не может быть, ведь все люди разные. И единого жанра тоже нет: у кого-то сказка, а у кого-то суровая проза бытия. Герои рассказов едины только в том, что ничего не скрывают от читателя. У этой книги такое правило: только правда, так интереснее.

Она разделена на две части: женскую и мужскую – «инь» и «янь». Но это не потому, что одни рассказы для женщин, другие для мужчин. А потому что энергетическое начало в одних – женское, в других – мужское.

Хотя и это условно: женское постепенно переходит в мужское. От «инь» повествование идёт в «янь». Рассказы передают эту энергию: вначале женскую, затем мужскую. Одни создают настроение «инь», другие – настроение «янь».

Шаг за шагом, история за историей – вот путь этой книги. А в конце пути твоему взору откроется её смысл. Ядро, подобное ореху внутри скорлупы: разгрызи и узнаешь вкус.

Инь

Библиотека

Раннее зимнее утро. За окном ещё темным-темно. Будильник прозвенел в шесть пятнадцать, с будничной бесчувственностью потревожив чуткий сон красивой и юной девушки.

Пробудившись, она сразу же встала – без всякой неги и лени. Только возле штор, заглядывая в тёмное окно, вытянулась в струнку, хрустнув косточками.

Затем пошла в ванную, открыла воду и долго смотрела на себя в зеркало над раковиной. В её взгляде не было ни тени самолюбования или удовлетворения собой. Она смотрела на себя без интереса – прямо и равнодушно.

Приняв душ и почистив зубы, вышла на кухню. Её мама, грузная женщина с печатью горького жизненного опыта на лице в виде депрессивной поволоки в глазах и унылой безжизненности прочих черт, встала ещё раньше, чтобы приготовить дочери завтрак.

Мама гордилась, даже восхищалась своей дочерью, видя, какие девочки растут у её подруг и коллег по работе: курят, пьют, чуть ли не все с ранних лет вступили в половую жизнь, и все лодыри и законченные эгоистки. Но её Лена не такая, как все, она исключительная умница. Ещё ведь совсем, если подумать, маленькая – восемнадцать лет разве возраст? – а сколько книг уже прочитала. Весь день в университете и библиотеках, но при этом не заучка какая-нибудь, а знает меру: когда нужно – отдыхает. На выходных ходит с подружками в кино, а больше в театр или музей, иногда просто погуляет где-нибудь одна – наедине со своими мыслями.

Каждый вечер к ней приходит молодой поклонник – Вася. Он, конечно, хороший мальчик, из хорошей семьи, но Лена всё равно пока держит его на расстоянии. Молодец, всё понимает и не по годам правильно расставляет приоритеты.

«В кого она у меня такая? – восхищалась про себя мама, прижимая руки к сердцу. – Ну, точно не в отца, пьяницу и негодяя. Она совершенно верно делает, что даже слышать не хочет о нём. Оставил нас, когда она была ещё такой крошкой!...»

Она накрыла завтрак на стол и села возле дочери.

– Лен, когда придёшь домой?

– Как обычно, – ответила Лена сухо, но потом, точно опомнившись, нежно прибавила: – Не волнуйся, мамочка. Сначала в университете три пары, потом в библиотеку поеду, а вечером меня Вася встретит. Мы погуляем немного, и он проводит меня домой.

Мама и не волновалась. Просто нужно было хоть о чём-то спросить. Она чувствовала себя полной дурой перед дочерью.

– А как у тебя с Васей?

– Всё хорошо, мам, – Лена улыбнулась, встала из-за стола, помыла за собой посуду, чмокнула маму в щёчку и пошла одеваться.

Мама, сидя на кухне, слушала, как Лена торопливо ходила из комнаты в коридор, из коридора в ванную, чем-то там шебуршила, что-то там роняла, искала, потом, наконец, оделась, сказала «до вечера» и хлопнула дверью. Материнское сердце преисполнилось счастья, а унылая безжизненность черт на лице чуточку ожила.

Выйдя из подъезда, Лена попала в движущуюся в сторону троллейбусной остановки толпу таких же утренних мучеников. Однако на их фоне её походка казалась более уверенной и лёгкой, а взгляд более трезвым и целеустремлённым, хотя она мало чем отличалась от большинства других девушек, шедших рядом. Да, красивая, но не фотомодель, в обычной, без

амбиций и яркого стиля, как у всех, одежде, с запахом духов, который на улице можно встретить десятки раз в день.

Ожидая на остановке свой троллейбус, она смотрела на светлеющее небо, туда, куда поднимался, растворяясь в морозном зимнем воздухе, серый дым от заводов и котельных. Возможно, она о чём-то думала, а может, мечтала, а может, просто наслаждалась теми редкими маленькими снежинками, которые тихо и робко падали ей на лицо.

В эту минуту она казалась очень красивой, очень сильной и очень недоступной. Она была, как крепость, окружённая варварами, как корабль во время шторма. А временами казалось, будто она дикая птица, пойманная и посаженная в клетку, или молодая антилопа на водопое перед броском крокодила, ещё живая, быстрая и полная сил, но уже обречённая на смерть.

Внезапно подошёл троллейбус и поглотил почти всех стоявших на остановке. Люди толкали и давили друг друга, чтобы пролезть как можно дальше внутрь. Кому-то везло, кому не очень. Наконец, самый неудачливый встал на самую последнюю ступеньку и закричал под напором закрывающихся дверей.

Лена была уже внутри. Она юркнула в троллейбус так стремительно, что, казалось, за это время и снежинки не успели долететь до холодного и скользкого асфальта.

В троллейбусе было ужасно тесно. Лена стояла возле передних дверей. Со всех сторон её теснили, но она по-прежнему оставалась спокойной и решительной. Теперь она смотрела в окно, но, видимо, только отчасти улавливала контуры безумного и вроде бы бессмысленного городского движения, потому что, кажется, видела что-то своё.

Временами она обводила взглядом входящих и выходящих пассажиров, но быстро теряла к ним интерес. Наконец, проскользнув сквозь кучку стоявших в проходе людей, сама вышла из троллейбуса и направилась к университету.

Она немного опаздывала, и во дворе университета никого уже не было. В тишине, слушая, как хрустит под ногами снег, она дошла до парадного крыльца и остановилась. Зазвонил мобильный.

– Да, алло.

– Аллю, привет! – это был Вася.

– Привет.

– Во сколько заканчиваешь?

– Вась, встретимся как обычно, – Лена нахмурила брови.

– Может, заколешь хоть раз свою библиотеку?

– Вась, встретимся как обычно, – повторила она.

– Лен, ну пожалуйста!

– Не могу. Как обычно.

Вася помолчал, а потом поникшим голосом произнёс:

– Ну, ладно. Как обычно так как обычно. Я люблю тебя, Лен.

– А я тебя. До вечера.

Она вошла в здание, поднялась по лестнице. Дверь в её аудиторию была открыта, лекция ещё не началась. На входе быстро сняв пальто, она проскочила на своё место.

За ней прибежала подруга Верка, которая, сев рядом, тут же каким-то очень громким шёпотом принялась рассказывать ей маловероятные события своего вчерашнего вечера. Она говорила очень долго, взахлёб, постоянно сбивалась, начинала сначала, бросала, начинала с середины и, резко закончив, устало произнесла:

– В общем, так, скучновато было, конечно. А ты как? – но, увидев Ленино скучающее выражение лица, продолжила: – Ясно. Слушай, сегодня у моего Сашки... ну, это мой новый... я тебе рассказывала... день рождения. В общем, он приглашает тебя. После универа собираемся у него, а потом едем в какой-то бар. Но нам с тобой надо сначала ко мне...

– Я не пойду, – перебила её Лена. – Ты же знаешь, после универа я в библиотеку.

Верка надулась.

– Ну ты вообще... Дура какая-то... У парня дэрэ, а ты... Классно будет! Ну чего ты? Подумаешь, раз не сходишь!

– Вер, ну сколько тебе говорить, в воскресенье без проблем, а в другие дни я не могу, – отрезала Лена.

Верка обиделась и отвернулась. Но через некоторое время, когда уже началась лекция, передала записку: «А в воскресенье в кино пойдёшь?». «Пойду», – ответила Лена.

Первая пара длилась долго. Лекция оказалась очень скучной – скучной даже для самого преподавателя. Он постоянно зевал и смотрел на часы. Но Лена, даже не вдумываясь особенно в смысл слушаемого, без ошибок, всё, слово в слово, переносила себе в тетрадь. Ей было и не весело, и не скучно. Ей было никак. В этот момент она была просто машиной.

На второй паре проходил семинар, где все вопросы заранее распределились между студентами, и свой Лена знала на «отлично». Ей нравились семинары, здесь она могла блеснуть своими знаниями, выделить себя из общей серой массы. Поэтому она всегда очень грамотно делала свои доклады, а чужие громила вопросами в пух и прах.

Однотруппники даже злились на неё некоторое время, но поняв, что она это всё не со зла, а просто фанатик семинаров, остыли и отстали. Лена с удовольствием становилась звездой любого семинара. Впрочем, никто и не хотел отбирать у неё это звание.

А третьей пары вообще не было. Сказали, что преподаватель заболел, и что пусть все идут в библиотеку заниматься самостоятельно. Естественно, никто не пошёл. Кроме Лены.

Она набрала кучу книг и села в самом дальнем углу огромного читального зала. Безусловно, она читала очень умные книги. Не просто читала, а даже что-то конспектировала в тетрадь, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг. И так немногочисленные посетители постепенно расходились, и какое-то время она оставалась вообще одна в этих безмолвных стенах, среди пустых столов и стульев.

Лена сидела такая маленькая, такая, казалось, всеми позабытая, такая несчастная, но настолько увлечённая своим немодным нынче занятием – чтением книг – что невозможно было и предположить, что она не то что скоро, а вообще покинет этот зал. Легче поверилось бы в то, что она так и останется здесь навсегда, на веки вечные. В лучшем случае превратится в новенькую красивенькую книжку и отправится на пыльную полку; в худшем – в библиотекаршу, старую, меланхоличную и одинокую, если, конечно, её вовремя не успеет спасти какой-нибудь добрый и обаятельный библиотекарь.

Однако она, посмотрев на часы, встала, сдала книги, торопливо оделась и вышла. Пока шла по коридору, зазвонил мобильный. Она быстро, будто и не слушая даже, проговорила: «Да еду уже. Скоро буду».

Выйдя из университета, она поспешила на остановку, где села в маршрутку. В маршрутке пробралась вглубь салона и села к окну.

Мимо проплывали люди, машины, деревья, дома. Она смотрела в окно, но, кажется, не видела ни людей, ни машин, ни деревьев, ни домов. Её глаза были холодны, как лёд, черты лица тверды, как камень. Правда, лицо её от этого стало только красивее. Но это была какая-то страшная красота.

Лена уехала далеко и вышла где-то ближе к окраине города: там, где начинались тихие и симпатичные улочки с коттеджами.

Коттеджи все походили друг на друга, точно инкубаторские цыплята – из-за чего здесь не мудрено было и заблудиться. Но она, видно, хорошо знала эти места. На главной улице уверенно свернула в проулок, вышла на другую улицу, от неё снова в проулок и потом на ещё одну улицу, где наконец и нашла нужный ей дом.

Позвонила. Дверь открыл пожилой мужчина в спортивных штанах, по пояс голый. Вид у него был не то помятый, не то ленивый. То ли он слегка выпил, и опьянение начинало оставлять его, то ли попросту устал.

Он вяло улынулся и, зевнув, пробормотал:

– Проходи, Леночка.

В прихожей мужчина принял от неё пальто, как-то лукаво посмотрел ей в глаза и сказал:

– Поднимайся наверх. Там Лёшка Пухлый и Родя.

– И всё? – спросила она.

– У-ты, пуси!.. – усмехнулся он. – Не всё. Скоро подъедут.

Лена сняла обувь, по-хозяйски прошла на кухню, что-то выпила и уже на лестнице спросила его:

– Новенькие будут?

Он из уборной крикнул:

– Ну а как же!

Поднявшись на второй этаж, она зашла в комнату, где стоял большой диван, на котором сидели двое молодых парней. Один – высокий, сутулый, лицом угрюмый и страшный, другой попривлекательнее, но очень толстый.

Парни пили пиво и о чём-то жарко спорили, но когда Лена вошла, сразу замолчали. Глаза у них сузились, а губы скривились в ухмылках.

Она села к толстому на колени и одной рукой обняла его за шею. Угрюмый встал и принялся стягивать с неё джинсы. Она не сопротивлялась. Толстый снял с неё кофту и лифчик. Она расстегнула ширинку у него на брюках и стала делать ему минет. Угрюмый по-мужички грубо и властно овладел ею сзади.

Потом в комнату пришёл пожилой мужчина, который впустил Лену в дом, – теперь совершенно голый, и они имели её втроём.

Вскоре они закончили, и она спустилась вниз. На кухне открыла холодильник и, достав бутылку минералки, долго и жадно пила. Обжигающе-ледяные капли проливались изо рта и скатывались по её дышащему жаром обнажённому телу на пол.

Когда приехали ещё двое мужчин, ей пришла смс-ка от Васи: «Буду возле универа в 21:00. Люблю». Ответ она набирала долго, потому что кто-то подошёл к ней сзади, упёр грудью в стол и вошёл в неё. Локти ёрзали по столу, руки не слушались, но она всё же написала: «Я тебя тоже люблю».

Этот кто-то вышел из неё, но появился другой. Потом её отнесли наверх и снова имели. Она еле дышала, глаза были мутные, губы дрожали. Казалось, что ей вот-вот станет плохо. Но нет – один за одним выдохлись мужчины: сначала толстый, затем пожилой, за ним и «новенькие» попадали на диван и принялись курить. Последним сдался угрюмый.

А она лежала на полу, вся в мужском семени и ласкала сама себя. Вдруг затихнув, встала, сходила в душ, оделась и молча ушла.

В 21:00 возле университета её ждал Вася. Они погуляли. Лена была приветливой и очень нежной с ним. Ближе к одиннадцати он проводил её домой, а когда они зашли в подъезд, робко обнял и попытался поцеловать, но она вырвалась, мимолётом чмокнула его в щёчку и исчезла в своей квартире.

Мама смотрела телевизор, но когда Лена пришла, сразу выключила, ласково посмотрела на дочь и сказала:

– Давай поужинаем. Я не ела. Тебя ждала.

– Давай, мам.

Они пошли на кухню, мама накрыла на стол, а Лена взяла какую-то книгу и стала читать.

– Леночка, потом почитаешь, – взмолилась мама. – Поешь нормально.

– Надо подготовиться к завтрашнему семинару, – с улыбкой ответила она.

Мама всплеснула руками и послушно умолкла. Когда они поужинали, Лена вздохнула и сказала, закрывая книгу:

– Пойду спать. Устала очень.

И, будто сонная, побрела к себе в комнату. Мама любящим взглядом проводила дочь и в очередной раз порадовалась, какая хорошая у неё девочка. Материнское сердце преисполнилось счастья, а депрессивная поволока в глазах немного рассеялась.

...В шесть пятнадцать прозвенел будильник. Лена встала, посмотрела в окно, потянувшись и хрустнув косточками. Потом пошла в ванную, открыла воду и долго смотрела на себя в зеркало над раковиной. Она смотрела на себя прямо и равнодушно – без какого-либо интереса.

...Через четыре года Лена окончила университет и вышла замуж за Васю. Поступила в аспирантуру. В личной жизни тоже всё было хорошо.

Правда, Вася очень удивился, что Лена не девственница, но она так сильно на него обиделась за такой вопрос, что в дальнейшем это никогда больше не обсуждалось.

Как-то Васю насторожило ещё и то, что Лена очень уж опытна в интимных делах и в порывах страсти ведёт себя как-то... на себя не похоже, но заподозрить её в чём-то он не мог и искренне порадовался, что ему так повезло с девушкой. Ведь она и красивая, и умная, и нежная. Во всём понимает мужа, во всём слушается его.

Единственная её слабость, думал он, – книги. Ему ни разу так и не удалось отговорить свою молодую жену от поездки в библиотеку.

Материнский инстинкт

Когда она в первый раз увидела его, он ей совершенно не понравился. И хотя это неприятное знакомство длилось всего мгновение, ей ещё долго после того приходилось отгонять от себя мысленное «послевкусие».

В голове всё время сквозил странный тяжеловесный вихрь, который беспрестанно освежал в памяти мельчайшие подробности знакомства: оно, знакомство, поражало, странно удивляло сначала неожиданностью, потом необычностью и наконец перпендикулярностью относительно всего прежнего.

Но все эти волнующие внутренние достоинства не шли ни в какое сравнение с безнадёжной непривлекательностью внешности. Глаза – вот, что в тот момент определяло всё. И глаза не увидели в нём ничего интересного.

И лишь странный тяжеловесный вихрь не подчинялся всевластным глазам. Поэтому она вынуждена была пережить то необъяснимое «послевкусие». Впрочем, юный возраст (а её тогда поздравляли, кажется, с одиннадцатилетием) позволял с лёгкостью переживать не только «послевкусия», но и «предвкусия» и «вовремявкусия».

На самом пике переживания она сказала сама себе: «Когда у меня появится своя семья, то у меня будет самый-самый лучший муж и самые-самые лучшие дети». И тогда «послевкусие» постепенно потеряло свою силу.

Знакомство продолжилось примерно через год, но не оставило в памяти особенного следа. В четырнадцать она увидела его снова и вопреки самой себе задержала взгляд. Что-то в нём изменилось.

Или в ней. В ней и прежде чего-чего, но равнодушия к нему не было, только теперь равнодушие поменяло градус с минуса на вероятный плюс. Хотя внешне она никак не позволила этому проявиться. Просто маленькая галочка отложились где-то в области сердца. Пожалуй, это и стало тем самым главным, основополагающим изменением – глаза больше не имели абсолютной власти. Абсолютную власть имели «галочки» сердца.

На пике переживания «послевкусия» она сказала маме:

– Знаешь, мама, когда я вырасту, и у меня появится своя собственная семья, у меня будет самый-самый... лучший муж и самые-самые лучшие дети!..

– Да, милая, – снисходительно улыбнулась мама.

С тех пор тяжеловесный вихрь больше не оставлял её надолго. «Галочки» в сердце росли, полностью подавив глаза, и глаза искали встречи с ним – источником тяжеловесного вихря. Хотя бы мимолётной. Хотя бы и несколько постыдной. Впрочем, нет – официально не искали. Только очень сокровенно, там – где-то в тёмных зарослях «галочек».

– Да нет же, для меня главное – семья, – заявила она (конечно же, официально) своей лучшей подруге уже в семнадцать. – Отношения между мальчиками и девочками не могут иметь другого смысла. Нельзя себя разменивать. Нужно стремиться к самому лучшему. Если муж будет самый-самый, то и дети тоже станут самыми-самыми.

– А вот я не думаю ни о каких детях, – сокровенно ответила подруга. – Я когда вижу... его, мне ничего не надо. Какая семья? Какие ещё дети? Это когда ещё будет? А он – сейчас. Сейчас – это и есть самое лучшее, а не потом. Если жить в ожидании «потом», непременно потеряешь «сейчас». Я ощущаю его своим «сейчас» и живу. Я не могу ощущать его своим «потом». Для меня это смерть.

– А сколько их будет в таком случае?

– Не важно. Они все – он. Сколько бы их ни было – он один.

– Мне кажется, если всегда будет «сейчас», то нечему быть «потом». Вдруг тогда ни одного не будет?

– Официально? Или сокровенно?

– И так, и так.

– Если ни одного не будет, то значит, твоё «потом» сильнее моего «сейчас». Пока я так не думаю, потому что вижу и ощущаю его каждый день.

И всё-таки в следующий раз – опять где-то через год – ей удалось увидеть его благодаря не официальнойности и даже не сокровенности, а самой откровенной постыдности.

Это было в безлюдном парке поздней осенью. Она заметила его сразу. В нём уже окончательно умерла необычность, неожиданность же его посерела из-за дождливой грусти, а перпендикулярность больше не шокировала и не обжигала глаза и сердечные «галочки».

Вообще он показался чрезвычайно уродливым, под стать осени, скучным, неинтересным и очень отчего-то однообразным. Но она всё равно стояла и смотрела на него с неуместной для девушки беззастенчивой дерзостью (в чём, конечно, и заключалась основная доля постыдности) – и в нём, таком невзрачном, находила для себя нечто. И, находя, смеялась, а, смеясь, прощала ему и уродливость, и скучность, и неинтересность, и однообразие. Но несмотря на то, что смех её был созерцательно-беззвучным, он смущённо скрылся от неё какими-то суетливыми, неловкими движениями.

Да, как он, оказывается, ко всему прочему неловок и суетлив!.. Но... мужественен. Настолько, что и во всём мире, исходя из её мыслей, ничто не могло уподобиться ему мужественностью. Лишь одна эта мужественность удерживала её внимание к нему, укрепляло её расположение к нему.

Об этом красноречиво говорило сладкое томление внизу живота, отчего глаза стремительно увлажнялись, а сердечные «галочки», казалось, прорывались из тела физически.

Гегемония «животного томления» пришла сама собой, просто появилась из ниоткуда и завладела всем. Власть его была настолько сильна, что тяжеловесный вихрь всегда захлёбывался в огне томления своеобразным и новым «послевкусием».

На выходе из парка её нагнал очень худенький и очень пьяненький молодой человек. Его некрасивое лицо старательно пыталось слепить свои разъезжающиеся черты в кучу относительной собранности.

– Девушка!.. Девушка, как вас зовут?

– Зачем это вам? – обернулась она холодно. – Вы что, со мной познакомиться хотите?

Он тут же растерялся, и его относительно собранные черты лица обречённо разлепились и разъехались.

– Ну, я... это... смотрю... красивая девушка... одна... в таком безлюдном парке...

– И?

– Не боитесь?..

– Вас? Или парк? Нет, не боюсь.

– А парень ваш... или муж... не боится?

– Вы в мужа, что ли, ко мне набиваетесь? Не стоит. Мой муж в отличие от вас будет самый-самый лучший. Извините, я тороплюсь.

Она остановила такси и уехала, а он обиженно и растерянно крикнул ей вслед:

– Ты чё, дура?

Дурой ей случилось почувствовать себя чуть позже – в начале весны. У неё появился молодой человек – такой же худенький, вечно с пивом, с запахом перегара, почти совсем некрасивый, почти совсем несобранный и почти совсем немужественный. И он совершенно не умел выражать свои мысли. Мысли его были или слишком лёгкими, или слишком тяжёлыми, из-за чего они не могли удобоваримо совпадать со словами. Слова непременно разъезжались.

– Слушай, чё мы с тобой, как эти... – растерянно начинал он время от времени. – Может, мы... ну это... а?

– Что?

– Ну чё мы с тобой... как дети, а? Только за ручку ходим... Я понимаю... ты там... девочка... все дела, но надо как-то... это... Чё ты... сама, что ли, не понимаешь?..

– Я понимаю, что я «там» девочка, а ты «там» мальчик. И что?

И он сконфуженно прекращал этот разговор – хмуро мотал головой и покупал в ларьке пиво. А она чувствовала себя душой. Как-то совсем по-другому ей представлялись отношения между девочками и мальчиками.

– Ты знаешь, мне он, кажется, вообще не нравится, – поделилась она с другой лучшей подругой. – Я смотрю на него и не вижу в нём своего самого-самого лучшего мужа. Я в нём вообще никого не вижу. Мне его просто жалко... как какого-то зверька.

– «Самых-самых» нет, пойми, – горячо всплеснула руками подруга. – Вот я, ты в курсе, скоро выхожу замуж, а меня уже иногда прямо тошнит от моего будущего единственного-ненаглядного. Потому что он далеко не «самый-самый». И я не «самая-самая». И дети у нас, я уверена, будут не «самые-самые». И вообще семья тоже будет самая не «самая-самая». «Самого-самого» не бывает.

– Ну а любовь?

Та заразительно засмеялась.

– Ну да, была любовь. Цветочки дарил. В подъезде однажды всю ночь стоял, меня ждал. Слова красивые говорил. И я тоже... дура... ревела из-за него.

– А теперь?

– А теперь только «это» ему и нужно от меня, больше ничего.

– А тебе?

– Мне много чего нужно, – она снова засмеялась. – А ты как? Была со «зверьком» своим?

– Для меня «это» – очень второстепенно. Я мало придаю «этому» значения. Я просто вижу, что с тем человеком нормальной семьи не получится. Зачем тогда всё «это»? Понимаешь, мне тоже не нужно «самое-самое», если его нет, но нормальное, моё – нужно. А тот человек для меня – не мой и не нормальный.

Через какое-то время ей надоело чувствовать себя душой, и она бросила того худенького молодого человека. Он в ответ наговорил всяких гадостей – на удивление твёрдо – и очень мужественно пошёл в ларёк за пивом.

Но ей всё равно полегчало. Она ни в чём не винила его. Скорее – себя: что не разобралась вовремя в своих чувствах, что проявила слабость и создала совершенно не нужную связь, что грубо эту связь порвала, что сама не знала, чего хочет...

И всё же, с другой стороны, она получила необходимый жизненный опыт для предотвращения подобных ошибок в будущем, не натворила очевидных женских глупостей и сняла «розовые очки» насчёт мужественности.

И ещё – к ней снова вернулась поколебленная было уверенность в себе. А равно и вера в «самое-самое». Два раза, пока она встречалась с тем молодым человеком, она случайно видела и его – верх своего представления о мужественности, и её чуткий внутренний мир был полон смятения и недоумения. Не ощущалось ни тяжеловесного вихря, ни «послевкусия». И даже само «животное томление» стало потихоньку угасать.

И вот – на волне освобождения и уверенности в себе она опять могла думать о нём без смятения и недоумения, а, оживляя его в своей памяти, вкушать всем естеством тяжеловесный вихрь и переживать «послевкусие» в океане сладости «животного томления».

Но теперь твёрдый слой мужественности, окончательно и бесповоротно прилипший к его навязчивому образу, оброс мягкими эпитетами «нормальный» и «мой». И навязчивость больше никак не тревожила её. Градус поднялся в плюс, и ей даже нравилось думать о нём. Теперь он был не сиюминутностью глаз, не сбивчивым желанием сердца и не естественными процессами «животного томления». Он сидел в голове и лишь иногда выходил оттуда. И всякий его выход сопровождался жарким и восторженным монологом к подругам, маме или папе.

– Папа, он должен быть, как ты! – твердила она горячими устами. – Он обязательно должен быть умным, он обязательно должен быть сильным, он обязательно должен быть... понимающим, чувствующим, негрубым, обязательно – основательным, надёжным, спокойным, с ясностью, с твёрдостью, без легкомыслия, без преукрашивания, обязательно – нерядовым, необыкновенным. Я просто не вижу другого варианта для моей семьи. А для меня семья – это самое важное.

– Да, милая, – снисходительно улыбался папа, глядя на неё добрыми и счастливыми глазами.

По правде говоря, ей иногда становилось очень стыдно из-за всей этой жаркости, восторженности и, самое главное, умственной однообразности.

Когда он ещё находился в глазах, в сердце, внизу живота, внешняя жизнь текла вполне обычно, но голова не умела адекватно выносить его – её сбивала с толку присущая ему перпендикулярность, из-за чего всё начинало казаться параллельным, а внешняя жизнь стремилась течь как-нибудь не совсем обычно.

Тогда ей приходилось принимать успокаивающие лекарства. Одно лекарство называлось словом «семья», другое – словами «муж» и «жена», третье – словом «дети». Всё запивалось вкусной водичкой под названием «самое-самое». Особенного облегчения «лекарства» не приносили, но помогали в одинаковой степени бороться как с перпендикулярностью, так и с параллельностью, и, что важнее прочего, мягко и изворотливо заглушали чувство стыда.

Эти мучения толкнули её в объятия другого молодого человека.

Она познакомилась с ним новой осенью в том самом безлюдном парке, куда её тянуло чуть ли не каждый день с непонятной и непреодолимой силой.

Он нагнал её у самого входа.

– Девушка!.. Девушка, как вас зовут?

– Зачем это вам? – обернувшись, спросила она. – Вы что, со мной познакомиться хотите? Что ей сразу в нём понравилось, так это дерзость. Он ни капли не растерялся.

– Ну да, хотелось бы. Я смотрю – красивая девушка, одна, в таком безлюдном парке... Не боитесь?

– Вас? Или парк? Нет, не боюсь.

– Меня и не надо бояться. А вот парень ваш... или, может, муж не боится вас одну отпускать?

– Вы в мужа, что ли, ко мне набиваетесь? Не стоит. Мой муж в отличие от вас будет самый-самый лучший. Извините, я тороплюсь.

Она хотела тормознуть такси, но он крикнул вдогонку:

– Так я же и есть самый-самый лучший! Может, проводить вас?

При более пристальном и, по-честному, заинтересованном взгляде, ей понравилось в нём очень многое. И то, что он не худенький. И то, что он собранный. И то, что вполне красивый. И то, что вполне мужественный. И то, что он умело выражал свои мысли. Они были или слишком лёгкими, или слишком тяжёлыми, из-за чего всегда казались перпендикулярными, идеально совпадая с перпендикулярностью в её голове.

– Ну ладно, раз вы настаиваете, то проводите, – сдалась она.

Потом в течение целого месяца её многое тревожило. Тревога не имела одного имени, одного цвета или одного звука. В ней содрогалась многоликость. Проще – всё тревожило. Казалось, земля уходила из-под ног. Казалось, небо давило сверху всей своей крепостью. Казалось, где-то поджидали скрытые угрозы.

Однажды она не могла заснуть, думая о нём и... о нём. Тот тревожил, а этот, как и прежде, витал в голове тяжеловесными вихрями, распространяя везде «послевкусие» и заставляя будоражиться океан сладости «животного томления». И последнее безнадежно утопало в тревогах, навеванных первым. Он был... в нём. Со всеми эпитетами – «нормальный» и «мой». Муже-

ственно. Она почувствовала это всей своей многоликой женственностью. Они прямо выходили из тревоги и шаг за шагом тревогу уничтожали. И тогда всё разрешилось и встало на свои места.

– Как ты ко мне относишься? – спросила она его при встрече.

– Хорошо.

– А серьёзно?

– Серьёзно.

– Со всей серьёзностью?

– В наибольшем её во мне проявлении.

– Знаешь, – с жаром и восторженностью выдохнули её уста, – я раньше всегда мечтала, что мой «самый-самый» обязательно должен быть умным, обязательно должен быть сильным, обязательно должен быть понимающим, чувствующим, негрубым, обязательно – основательным, надёжным, спокойным, с ясностью, с твёрдостью, без легкомыслия, без преукрашивания, обязательно – нерядовым, необыкновенным. Тогда и семья будет «самая-самая». А для меня семья – это самое важное.

– Да, милая, – снисходительно улыбнулся он.

– А для тебя что важнее – «потом» или «сейчас»? – с тревогой нахмурилась она.

– Для меня важнее «всегда».

– А тебе... – и тревога многократно возросла, – не только... «это» от меня надо?

– Не только.

Её тревога вновь сменилась восторженной жаркостью.

– И ты любишь меня?

– Да, милая, – с улыбкой повторил он.

– Я тоже... – со смущением прошептали её горячие губы, – люблю тебя...

И тогда она сдалась. В глазах гулял тяжеловесный вихрь. В сердце непрерывными «галочками» гулял тяжеловесный вихрь. В «животном томлении» сладостным океаном гулял тяжеловесный вихрь. В самой голове терзающе гулял тяжеловесный вихрь.

Но все они – и глаза, и сердце, и «животное томление», и даже голова – были презренными холопами перед великим властелином – руками. Только руки могли по-настоящему ощущать «послевкусие», «предвкусие» и «вовремякусие». Только руки могли владеть всем, что видели глаза, всё, что пропустило через себя сердце, всё, чем томился низ живота и чем терзалась голова.

И руки овладели. Маленькие цепкие пальчики крепко и властно схватили его – тот вождь-ленный источник мужественности – жарко и восторженно осязая его горячую и упрямую «перпендикулярность», опьяняясь его постыдной близостью и наслаждаясь таковым опьянением. «Послевкусие», «предвкусие» и «вовремякусие» сошлись в одной точке, и этой точкой был он – уродливый, скучный, неинтересный и однообразный отросток, неловко и суетливо упиравшийся своим горячим и упрямым «сейчас» во влажное лоно сдавшегося «потом».

– Знаешь, когда я в первый раз увидела... его, он мне ужасно не понравился, – сокровенно сказала она немного позднее, когда они лежали в постели обнажённые и утомлённые.

– А потом?

Её руки ответили требовательными прикосновениями к горячей и упрямой «перпендикулярности».

Она уклончиво прошептала:

– Ты у меня самый-самый лучший.

– Кто? Я... или он?

На что, собственно, ей ничего не стоило благоразумно и смущённо промолчать.

Он, «перпендикулярный», в руке, торжествующе источал «послевкусие». А он, «параллельный», под боком, истощённо произнёс откуда-то из тумана тяжеловесного вихря:

– Тебе не кажется, что тобой изначально двигало некое лукавство относительно него? И вообще... всех нас? Нечто совершенно неправдивое пропитало тебя с самого детства насквозь. И ты уже не можешь отделить себя от всего этого неправдивого. Нет, ты не лжёшь. Ты целенаправленно думаешь ложь, считая её правдой. Лукавство вырастило тебя. Оно отложило яйца в каждой твоей мысли, в каждом твоём стремлении, в каждом, даже самых светлых мечтах. А его гнездо ты спрятала в самом-самом святом, что может быть у женщины – в материнском инстинкте. «Потом» превратилось в «сейчас», выдавая себя за «всегда».

– Не знаю... Я знаю, что моё «потом» проиграло...

Через год она вышла замуж и переехала к мужу. Так у неё появилась своя собственная семья. Правда, с детьми она не спешила. Она вообще не говорила слово «дети». Она почти не говорила слово «семья». А вместо слова «муж» в разговоре с лучшими подругами употребляла ласково-пренебрежительное «мой ненормальный».

И лишь один он не потерял своей первоначальной ценности. Более того, где-то глубоко в «самом-самом» святом он стал единственной необходимостью.

Это произошло тогда, когда руки насытились и уступили свою власть «тому», что она именovala средоточием женственности. «Средоточие» диктовало всё и ему не нужны были ни семья, ни дети, ни муж. Только он – возделенный отрок.

– Я не думаю ни о каких детях, – делилась она с одной подругой. – Я когда вижу... его, мне ничего не надо. Я ощущаю его своим «сейчас» и живу. Я не могу ощущать его своим «потом». Какая там семья? Настоящая семья – это «потом». Для меня это смерть. И муж тоже смерть. Он жизнь – пока это он. А он во всех. Они все – он. Это единственное, что меня останавливает. Я просто боюсь.

А другой сказала так:

– «Самых-самых» нет. Он далеко не «самый-самый». Я не «самая-самая». И дети у нас, я уверена, будут не «самые-самые». И вообще семья самая не «самая-самая». «Самого-самого» не бывает. Ну а любовь... Ну да, была любовь. Цветочки дарил. В подъезде однажды всю ночь стоял, меня ждал. Слова красивые говорил. И я тоже... дура... ревела из-за него. А теперь ему только «это» и надо от меня, больше ничего.

– А тебе? – усмехнулась та.

– Мне много чего надо.

И они обе заразительно засмеялись, а в их смехе гулял тяжеловесный вихрь, расплёскивавший горькое «послевкусие».

Такие странные сны в стиле фьюжн

Сон 1. Топик

Сонечка никак не могла дождаться лета. Ах, какая долгая зима!.. Ах, какая тяжесть!.. А так хотелось лёгкости, такой лёгкой-лёгкой, почти невесомой. Как после душа. Только после душа бывает усталость, а усталая лёгкость грустна. Сонечка же мечтала о радостной лёгкости, о летней радостной и бодрой лёгкости.

Короче, очаровательная шубка из соболя, которую подарил папа перед Новым годом, надоела уже через месяц. Весь февраль Сонечку мучили собственные капризы и депрессия. За что частенько именно папе и доставалось.

Хотя папа, конечно же, ни в чём не виноват. Папа же не может убрать зиму и поставить на улицу лето. Папа мало что может, как сказала мама, и это единственное, в чём она безоговорочно была права. В остальном же мамина вина в тысячу раз больше папиной. Проклятушая депрессия целиком на её совести.

А как же? Она почему шубы так обожает? Известно – в шубе мама ещё вполне привлекательна. Без шубы же что-то как-то не очень...

Летом же на маму и взглянуть страшно. Да и стыдно. Летом Сонечка предпочитала лучше не иметь маму, чем «проваливаться сквозь землю», будучи рядом с ней при встрече какого-нибудь некстати подвернувшегося знакомого парня из университета.

Летом мама не нравилась даже папе. «Понятно», – сквозь зубы произносил он, когда она безуспешно пыталась влезть в собственное прошлолетнее платье, и, кажется, принимался худеть вместо неё – не ел толком, не пил толком, не спал толком. И получалось: папа худел, а мама... Мама покупала другое, более просторное платье и продолжала наслаждаться жизнью.

В марте Сонечкина депрессия потихоньку сменилась неким сумбурно-волнительным ожиданием. В апреле вместе с таянием снега сумбур в волнительном ожидании растаял, образовав внутри одну сплошную волнительную кашу. У Сонечки закружило голову – она частенько стала прогуливать занятия, поздно возвращаться домой и ложиться спать, не принимая душ.

Родители, видя такие «разброд и шатание», также заволновались – папа не ел толком, не пил толком, не спал толком, а мама, не в силах справиться с нервами, напирала на сладкое и мучное.

Наконец, наступил май. С каждым днём становилось всё теплее и солнечнее. Сонечка с торжественной тщательностью надела на все курточки полиэтиленовые коконы и повесила в гардероб.

Остальные зимне-весенние вещи полмесяца неприкаянно пылились на стульях и спинках кровати, пока одним очень тёплым и очень солнечным днём не отправились в стирку поспешно и холодно.

Иначе никак. В этот день Сонечка торопилась на встречу со своим новым молодым человеком и с ужасом выкидывала летние шмотки на постель, не зная, что же ей на себя сегодня натянуть: всё надоело и ничего не подходило.

И тогда неожиданно подвернулся он – ярко-оранжевый топик, любимец прошлого сезона. «Так, – Сонечка призадумалась. – Не рановато ли?». Однако сразу же дала «добро»: не рановато – на улице жара, раз, топик миленький и уж очень идёт, два, «новый молодой человек» наверняка придёт в восторг, три. Решено. А что? Ярко. Стильно. Сексуально.

Через полчаса она бодро спускалась в метро, звонко подпрыгивая на каблучках, соблазнительно поигрывая бёдрами и сверкая оголённым животиком. Дерзкий и вместе с тем ласко-

вый майский ветер эффектно будоражил её волосы из стороны в сторону, попутно бросая ей в лицо цепкие глаза мужчин и завистливые взгляды женщин.

Сонечка была на сто процентов довольна собой. Ах, какая она красавица! Спасибо маме и папе. И, конечно, солярию.

Войдя в вагон, она скользнула выразительным взором в сторону симпатичного парня, сидевшего на противоположной стороне, несколько вправо, и «припарковалась» возле дверной стойки.

Поехали. Людей было не то что бы много, но достаточно для некоторой неловкости. Особенно тревожила высокая угловатая дама в старомодной панаме – её костлявый локоть то и дело упирался Сонечке в правое плечо или лопатку. Сонечка несколько раз отстранялась, но не помогло – дама тотчас же «съедала» уступленные сантиметры, продолжая упираться.

Остановились. Сонечка снова одарила выразительным взором симпатичного парня. Тот, засмущавшись, отвёл глаза.

Поехали. Дама убрала локоть, но повернувшись фронтом, стала источать омерзительный запах «свежести» дезодоранта. Сонечка презрительно отвернулась.

Остановились. Слева появился некий военный с рыжими усами. В руках он держал дипломат, что очень досаждало Сонечкиной коленке. Пришлось забирать уступленные угловатой даме сантиметры обратно. Та, нехотя, повиновалась. Остановились. Поехали.

– Девушка, может, присядете? – послышался голос откуда-то снизу.

Сонечка опустила голову и увидела грузного лысого мужика в клетчатой рубашке. Его густо-красное полное лицо было обильно покрыто испаринами, а маленькие бледные глазки сквозь липкую поволоку выражали всяческое беспокойство.

– Нет, спасибо, – вежливо отказалась она.

Через остановку угловатая дама наконец-то вышла. Её место заняла женщина помягче. Но, увы, побольше. Коленка опять уткнулась в дипломат военного с рыжими усами. Сонечка неоднократно бросала на него свой выразительный взгляд, но тот никак не реагировал, только безучастно шевелил усами и большее давил дипломатом.

Остановились. Грузный лысый мужик полез к выходу.

– Девушка, присаживайтесь, – произнёс он настоятельным тоном и, проходя мимо, обтёр Сонечку своей влажной от пота клетчатой рубашкой. Сонечке показалось, что даже сами клетки налипли на неё.

Пока она приходила в себя, место заняла большая мягкая женщина. И это было прекрасно!

Поехали. Дипломат военного больше не тревожил. На следующей остановке вышел симпатичный парень, и Сонечка, присев на освободившееся сиденье, далее доехала без каких-либо омрачений.

Далее вообще никаких омрачений не было. Во-первых, «новый молодой человек» пришёл в восторг от Сонечки. Во-вторых, Сонечка пришла в восторг от «нового молодого человека». И, в-третьих, они прекрасно провели время.

На омрачение с натяжкой тянуло только то, что после захода солнца стало заметно прохладнее, и топик оказался существенно легкомысленнее лёгких майских вечеров.

Но, в-четвёртых, «новый молодой человек» оказался настолько внимателен и обходителен, что это лишь «помогло» Сонечке почувствовать себя ещё более счастливой и востребованной. Ну и, в-пятых, домой она приехала вопреки всем «угловатым дамам», «военным с усами» и «лысым мужикам» на такси. А «новый молодой человек» получил в подарок «маленький невинный поцелуй». А что? Заслужил.

Сонечка же заслужила хорошее настроение и внутреннюю гармонию. Наконец-то ничего её не тяготило. Она приняла продолжительный душ и – устало-довольная – легла спать.

Но утром всё решительным и резким образом изменилось. От хорошего настроения не осталось и следа. Внутреннюю гармонию опять сменила депрессия, похлеще зимней. Всё тяготило и раздражало. Сонечка даже не пошла в университет.

До обеда провалявшись в постели, она с трудом заставила себя подняться, чтобы хотя бы почистить зубы и умыться. Оставленный мамой завтрак остался нетронутым. Оставленные папой деньги на день не доставили никакой радости. Сонечка врубила телик и, рассеянно переключая каналы, беззвучно плакала.

А всё из-за чего? Из-за проклятого сна. Он никак не выходил из головы – не забывался, ничем не забивался, никак не разбивался спасительной и умиротворяющей реальностью. Сонечка поминутно прокручивала его у себя в голове и не могла понять: к чему? зачем? за что? К чему приснилось такое... странное, мерзкое, непонятное? Зачем именно такое и именно так... странно, мерзко, непонятно? За что она должна была видеть такое, переживать такое, быть в таком... странном, мерзком, непонятном?

Во сне Сонечка снова была в метро, опять видела вчерашних симпатичного парня, угловатую даму и прочих, но пережила нечто совсем иное.

Войдя в вагон, она скользнула выразительным взглядом в сторону симпатичного парня, сидевшего на противоположной стороне, несколько вправо, и «припарковалась» возле дверной стойки. Парень отчего-то ухмыльнулся.

Поехали. Людей было как бы много, но в то же время как бы совсем мало. Сонечка ощущала возле себя только угловатую даму – её костлявый локоть то и дело упирался то в плечо, то в лопатку. Сонечка несколько раз отстранялась, но не помогало – дама, отчего-то тоже ухмыляясь, продолжала упираться.

Остановились. Сонечка снова взглянула на симпатичного парня. Тот захохотал каким-то жутким бесстыдным смехом.

Поехали. Дама убрала локоть, но повернувшись фронтом, тоже захохотала. Сонечка в ужасе отвернулась.

Остановились. Слева появился военный с рыжими усами и дипломатом в руках. Сонечка надеялась найти в его лице защиту и поддержку, но он начал вести себя ещё более нахально и непристойно. Ей пришлось вернуться к хохочущей угловатой даме. Та крепко схватила её своими костлявыми пальцами за край топика. Поехали.

И тут Сонечка почувствовала неприятное влажное прикосновение к себе внизу: к своему обнажённому животу. Она опустила голову и увидела грузного лысого мужика в клетчатой рубашке. Его густо-красное полное лицо было обильно покрыто испаринами, а маленькие бледные глазки сквозь липкую поволоку выражали всяческое наслаждение.

– Ух, какая конфетка!.. Так бы и съел всю, – несвязно промычал он.

Сонечка рванулась было назад, но упёрлась в большую мягкую женщину. Угловатой дамы не было, только её пальцы почему-то продолжали оттягивать топик. Сонечка ощущала это со всей остротой и безысходностью.

– А ты, милая, как думала? – строго протянула большая мягкая женщина. – Думаешь, хорошо? Кобелей на себя пособирала и думаешь – хорошо? Думаешь, я так не могу?

И она стала стаскивать с себя одежду, с гневом разбрасывая её по вагону, пока не осталась совершенно голой.

А лысый мужик, ухватившись крепко руками за Сонечкины ягодицы, слюнявил языком Сонечкин живот.

Военный с рыжими усами одобрительно кивал головой. Его дипломат вдруг открылся и оттуда выпал ворох потрёпанного и грязного женского белья. Но тот никак не реагировал, только шевелил усами и исступлённо кивал головой.

Остановились. Сонечка, улучив момент, вырвалась и выбежала из вагона. Вслед за ней погнался симпатичный парень, который внезапно превратился в её «нового молодого человека».

На перроне как назло было безлюдно. Ноги как назло налились свинцом и отказывались бежать. И всё же ей удалось спастись. Он преследовал её долго, но она как-то избавилась от него. Просто выскочила в город и скрылась среди людей.

Она бежала, пока не обнаружила, что по пояс раздета. Её руки отчаянно закрыли обнажённую грудь, а глаза обратились назад, в сторону метро. Там, на пяточке, расхаживала угловатая дама в том самом ярко-оранжевом топике и в дипломат военного собирала разбросанное повсюду грязное женское бельё. Сонечка в бессилии заплакала и в слезах проснулась.

К чему? Зачем? За что? Она не могла ответить себе на эти вопросы. Она не хотела отвечать себе на эти вопросы. Она весь день потерянно просидела перед телевизором, а вечером, когда пришли папа и мама, схватила со спинки стула свой ярко-оранжевый топик и со злостью закинула его под кровать. Как-то сразу полегчало.

Сон 2. Каблуки

– Не каблуки, а шпильки, – раздражённо сказала мама. – Это у меня каблуки, а у тебя, Соня, шпильки!

– Ну и что, мама! – Сонечка задыхалась от возмущения. – Мне нравится!..

– Ты и так высокая... тощая, как спичка, куда ещё и ходули-то эти!

– Ну и что!.. Мне идёт, мама, я знаю!

– Да много ты знаешь! «Идёт» ей! Если человек перебарщивает, это никому не идёт!

– Идёт! Так модно сейчас!..

– Что за мода такая? Парень на голову ниже! Этот... Эдик-то твой...

– Не на голову.

– На полголовы! Сути это не меняет!

Сонечка обиженно нахмурилась и, присев, порывисто скинула очаровательные босоножки на удлинённом каблучке. Как от сердца оторвала.

– Ну... ладно, – вдруг смягчилась мама. – Дело твоё... Хочешь – как хочешь, – она кликнула девушку-консультанта: – Упакуйте и это тоже, пожалуйста! Сколько? Хорошо-хорошо... – и вполголоса непонятно кому: – Отец не обеднеет...

«Необедневший» папа ждал в машине возле магазина, и когда Сонечка с мамой после часового отсутствия всё-таки показались в окружении десятка пакетов, он резко погрузился и, кажется, похудел ещё больше. Впрочем, мама ничего не заметила. А Сонечка не стала её и себя расстраивать этим. Ведь шопинг есть шопинг. Мужчинам этого не понять.

Мужчины понимают другое – насколько хорошо женщина выглядит. Сегодня Эдик, то есть тот самый «новый молодой человек», обещал незабываемый вечер в каком-то клубе, и Сонечка должна была выглядеть сногшибательно. Босоножки на удлинённом каблучке были гарантировано сногшибательными. А что? Модно. Дерзко. Сексуально.

Эдик тоже оценил, когда вечером заехал за Сонечкой. «Вау! – сказал он. – Ты выглядишь... мм, как это... сногшибательно!». И его глаза стали такими приторненькими, мутненькими и глупенькими.

Сонечка же просто хладнокровно прошла мимо, тщательно контролируя ровность движения тазобедренных мослов, а внутренне с наслаждением замирая от восхищения этих приторненьких, мутненьких, глупеньких глазок и от самой себя – такой... ну да, такой сногшибательной.

Цок! цок! – по залитому вечерним солнцем асфальту. Цок! цок! – ловя цепкие взоры мужчин и завистливые взгляды женщин. Цок! цок! – сливаясь с ритмом города – аж мурашки пошли по коже! – цок! цок! Воплощение женской власти в этом цокании, шпильками, будто

копьями, попирающем главу мудрого змия – мужского инстинкта охотника. Где твоя – о, муже! – сила? Где твоя – о, мужеская сила – победа? Всё «перецокали» женские ножки, обутые в звонкие каблучки.

Эдик, «охотник», преисполненный гордости из-за крупной добычи в лице Сонечки, на полголовы возвышающейся над ним, всю дорогу до такси, припарковавшегося на выезде из двора, раскрылившись, склонял свою выю перед таковым великолепием, став совсем каким-то маленьким и ничтожным.

Может быть, поэтому местная пивная шушера – трое бывших Сонечкиных одноклассников – набралась чрезмерной наглости и «домоталась».

– Сонька, а ты куда такая нарядная намылилась? – пропищал первый.

– Куда надо, – огрызнулась она.

– А куда надо? – загоготал второй.

– Слышь, отстань! – огрызнулся «маленький и ничтожный» Эдик.

– Э, полегче, терпила! – пробасил третий.

– От терпилы слышу, – Эдик раскрылся ещё больше.

– Ты кого терпилой назвал? – пропищал первый.

– Слушайте, отстаньте, а? – разгневалась Сонечка.

– А мы ещё ни к кому не приставали, – загоготал второй.

– А ты даже и не думай! – разгневался Эдик.

– А то чё? – пропищал первый.

– Чё ты сделаешь? – загоготал второй.

– Ладно, пусть идёт, – пробасил третий. – Он с тёлкой... Западлю... Ты это... Сонька, не обижайся!..

– Я на вас ещё в школе перестала обижаться: на дураков не обижаются, – проворчала Сонечка и крепко дёрнула Эдика за руку: – Пошли! Такси же ждёт...

Тот, поупрямившись, повиновался. И потом уже в клубе он постоянно то упрямился, то повиновывался. И причём всё невпопад. Или упрямился, когда не надо. Или повиновывался, когда не надо. Чем очень серьёзно портил Сонечке настроение. Сказала: «Пойдём, потанцуем». Заупрямился. Сказала: «Давай уйдём». Повиновался. Ушли. Пошлялись по ночному городу. Надоело. Посидели в парке. Надоело. Обнимались и целовались на холодной и не очень чистой лавочке. Сказала: «Поехали ко мне. Мои в деревню уехали». Заупрямился. Сказала: «Тогда я одна поеду. Замёрзла». Повиновался. Короче, испортил настроение вконец. Ну что ж, вызвала такси и уехала домой.

Возле подъезда «тусила» та самая шушера. Первый, сидя на корточках, курил. Второй мочился на угол. Третий громким басом вталкивал обоим следующее:

– ...По любому мы не правы. Он за бабу свою влез. Любой бы так сделал! Он – нормальный пацан! Мы вообще не по делу встряли. Нахрена, а? Стоим, пивасиком балуемся, настроение хорошее, взяли и прицепились!.. Слово за слово...

– Да я и говорю тебе! – сильно пьяным и потому сильно писклявым голосом перебил его первый. – Настроение хорошее! Тёлка знакомая идёт! Чё не пообщаться? А он – «терпила», все дела, пальцы веером!..

– Да он за бабу свою заступился! По любому мы... – взревел третий и осёкся, услышав цоканье очаровательных Сонечкиных босоножек на удлинённом каблучке.

Так некстати. Сонечка рассчитывала проскочить незаметно, держа в уме вечерний инцидент. Не получилось. Она внутренне напряглась, из-за чего контроль движения тазобедренных мослов стал особенно тщательным, а сами движения приобрели идеальную ровность.

Цок! цок! – по залитому грустным ночным светом асфальту. Цок! цок! – хлестким эхом, хлестко до непристойности нарушая зыбкую и чуткую тишину двора. Цок! цок! – ловя молчаливые сверлящие взоры пьяной компании – аж мурашки пошли по коже! – цок! цок!

– Сонька идёт! – неожиданно загоготал второй, отпрянув от обмоченного угла, запихая на ходу «виновника» образовавшейся тут же пенистой лужи и сшибая по пути батарею из пустых бутылок и банок.

Первый вздрогнул, обронив сигарету, и поднялся.

– Сонь! – противным голосом пропищал он. – Ты это... слышь... без обид, ладно?.. Ты – классная девка! Ты это... знаешь... как мне нравишься!.. Я бы этого... твоего... враз укопал!.. Чё ты в нём нашла-то?..

– Сонька, мы – пьяные, не обращай на нас внимания, – пробасил третий.

– Я уже заметила, – проворчала Сонечка, хладнокровно проходя мимо.

Но первый перегородил ей дорогу. Он достал сигарету и, неторопливо прикурив, проикал что-то типа:

– Сонька... ты классная девка... Слушай... ты это... не обижаешься?..

– Э, алкоголик, дай пройти человеку! – прикрикнул на него третий, и только тогда Сонечка избавила себя от навязчивого общества своих бывших одноклассников.

Фу, ну вот и спасительная норка. В квартире царил ласковый уют: темно, тихо и спокойно. Настенные часы в прихожей пробили два. На кухне мурлыкающе гудел холодильник.

Сонечка включила свет, сняла очаровательные босоножки, аккуратно поставив их на обувную полочку, и – пройдя в свою комнату – обессиленно упала на кровать.

Уф! «Придурки! – сказала она сама себе. – И Эдик придурок!». А что? Из-за него же всё. Она же не думала, что будет возвращаться так поздно одна.

Ласковое действие спасительной норки сработало безотказно-быстро, и уже через мгновение Сонечка пришла в себя. Встав с кровати, она пошла на кухню, достала из холодильника папину бутылку пива и, откупорив, сделала пару маленьких глотков. А что? Должно сегодня быть хоть что-то хорошее! Кроме босоножек, конечно.

Потратив около часа на пиво, телевизор и душ, Сонечка легла в постель и с наслаждением закрыла глаза. Перед сном она хотела подумать о чём-нибудь хорошем или представить у себя в голове что-нибудь хорошее. Но никак не выходило. Всё время выплывал один и тот же неприятный образ – пьяная физиономия первого из бывших одноклассников. Сонечка несколько раз предпринимала попытку прогнать его, но он всё время возвращался. И чем дальше, тем всё более мрачным, всё более наглым, таким отвратительным – с гадкой, искривлённой улыбкой, таким похотливым – с приторными, мутными, глупыми глазами, таким страшным – с явными чертами безумия на лице...

– ...Сонька, ты классная девка. Слушай, ты это... не обижаешься?.. – с усмешкой спросил он.

Она промолчала.

– Нет? А я на тебя обижаюсь, – тень безумия на его лице сгустилась. – Столько раз ты проходила мимо меня так холодно – цок! цок! – своими каблучками душу мне вынимала, столько раз заставляла сохнуть мои глаза на ветру, издаваемом твоим высокомерным движением, столько раз обламывала надежду и мне, наконец, испить чудесной воды из твоего источника. Ты играла со мной! И теперь я говорю – хватит!!! Я не жертва! Я... охотник!

Он смотрел на неё с нескрываемой злобой. Сонечка с ужасом отступила и оглянулась. Сзади стояли двое других одноклассников. Второй мочился на асфальт, брызгая вокруг себя воняющими бронзовыми каплями, нисколько не смущаясь и даже не отворачиваясь. А третий, подскочив, схватил её за талию.

– Мы – пьяные, не обращай на нас внимания, – пробасил он. – Голова кругом идёт. А тут ещё твои звонкие каблучки – прямо в голову вонзаются. Так что – извини.

– Это не каблучки, а шпильки! – сказал второй, перестав мочиться. Он потрёс «орган», сшибая с него последние капли. – Шпильки звонче и больнее.

– Отпусти, скотина! – рванувшись, крикнула Сонечка.

Но третий только сильнее сжал её талию. А первый произнёс с омерзительной улыбкой.

– А ты, Сонь, отпустишь нас?

– Я вас и не держу! – она с отчаянием стукнула каблучком по асфальту.

Раздался такой пронизывающий звон, будто колокол, только с хрустом, похожим на щёлканье горящих дров, так что вся троица зажала уши руками. Этим не преминула воспользоваться Сонечка, вырвавшись и устремившись в темнеющую глубь двора.

– Ты сама держишь нас, Соня! – крикнул ей вдогонку первый.

– Твои шпильки пригвоздили нас к тебе! Они распяли нас на тебе! – эхом отозвался второй.

– Отпусти нас, Соня! – прогремел третий.

Она, не помня себя, пронеслась вперёд и, когда страх немного отступил, затормозила и обернулась. Те трое неторопливо шли за ней. Они были ещё далеко, но гораздо ближе, чем она предполагала.

– Мы всё равно тебя найдём! – пропищал первый.

– Мы везде слышим тебя! – загоготал второй, по ходу продолжая трясти свой «орган».

– Твои каблучки приведут нас к тебе! – пробасил третий.

Сонечка снова что есть силы побежала вперёд.

Цок! цок! – скрываясь от полумёртвого электрического освещения. Цок! цок! – заглядывая в пугающую темноту подворотен. Цок! цок! – захлёбываясь от биения собственного сердца – аж мурашки пошли по коже – цок! цок!

Наконец-то она нашла какие-то укромные кусты и спряталась. Вскоре в поле видимости появилась и та ненавистная троица.

– Где-то здесь топталась... – тихо произнёс первый.

– Да вон в кустах, наверно, заныкалась, – усмехнулся второй, тот, что с «органом».

– Сонька, выходи, ты в кустах! – пробасил третий. – Мы видим тебя.

Она, присев на корточки, замерла, боясь и дышать. Но вдруг сзади её схватил первый.

– Эти бы ножки с каблучками да мне на плечи! – пропищал он.

Второй пролез сквозь кусты и сунул свой «орган» Сонечке в лицо. А третий просто погрозил пальцем.

– Никак ты нас, Соня, не отпустишь.

– От-пус-ка-а-ю! – заревела она и с обидой на все страхи, на все страдания, на писклявую похотливость первого, на дурацкий вониющий «орган» второго, на медвежью неумолимость третьего, выбросив ножку, треснула каблучком по бордюру возле кустов.

И опять раздался тот хрустящий звон, от которого насильники опять должны были спасать свои уши руками. Сонечка, вскочив, устремилась прочь от них. Теперь она бежала настолько долго, насколько могла. Но, оборачиваясь, она всегда замечала преследование. Те трое неторопливо шли за ней. Да, далеко, но гораздо ближе, чем предполагалось в уме.

Сонечка совершенно выбилась из сил. К тому же, стала хромать. Вернее, припадать на левую сторону, так как что-то случилось с каблучком. Короче, она боялась на него наступать всем весом, чтобы не сломать.

Но это не могло больше продолжаться – троица тихой сапой подступала всё ближе, и истерика превратилась в панику. Сонечка стащила с себя босоножки и побежала босиком, попутно взглянув на злополучный каблук. Да, точно, немного отошёл от подошвы. Ах, теперь уж неважно – лишь бы спастись!

В доме напротив показалась некая незакрытая дверь, от неё очень сильно веяло добротой, тёплой нежностью и спасением, потому что она была похожа на дверь Сонечкиной квартиры.

– Ах ты, зараза! – пропищал первый где-то очень близко.

– Теперь убежит! – загоготал второй как бы чуть подальше.

– Наконец-то отпустила! – пробасил третий вроде совсем далеко.

Сонечка, не оглядываясь, мчалась к вожаденной двери. Вот! Вот! Ещё чуть-чуть, ещё капельку потерпеть!.. Вот и всё! Слёзы облегчения брызнули из глаз, когда она ощутила в своей ладони знакомую ручку. Слёзы радости полились по щекам, когда она чудесным образом очутилась в своей такой родной и любимой квартире. Слёзы благодарности капали с подбородка, когда дверь захлопнулась за ней и стало темно, тихо и спокойно.

Сонечка проснулась резко, нащупав под собой на подушке мокрое пятно. Но ни темнота, ни тишина, ни умиротворение реальности не могли её успокоить. К чему, зачем, за что опять эта странность, эта мерзкость, эта непонятность? Ещё не окончательно исчез осадок от потрясения двухнедельной давности, и вот новый глоток смрадной мути, необъяснимого смрада, мутной необъяснимости.

Оставшуюся часть ночи Сонечка не спала, всё думала – а утром первым делом проверила свои очаровательные босоножки и ахнула. Каблук на левой босоножке немного отошёл от подошвы и шатался.

Сонечка сначала расстроилась, а потом всё же смирилась. Тем более после такого страшного сна эти босоножки надевать и не хотелось. После такого страшного сна вообще каблуки стали какими-то неприятными. Чем-то нехорошим стали казаться. Чем-то нечеловеческим. Цок! цок! Копытами, что ли?..

Сон 3. Халатик

Три или четыре дня Сонечка не подпускала к себе Эдика. Без всяких объяснений. Просто не разговаривала. На звонки и смс-ки не отвечала. А домой к ней придти он побоялся. Да и пришёл бы – что с того? Встретил бы иронически-насмешливую вежливость мамы, хмуромолчаливую вежливость папы, холодно-неприступную вежливость Сонечки и сконфуженно отправился бы гулять дальше.

А что? Обида есть обида. Сонечка умела обижаться. Совсем как мама. А маму обижать нельзя. Обиженная мама – разъярённый зверь. Папа знает. Так что Эдику ещё повезло с Сонечкой. Мама бы припомнила тот «незабываемый вечер» по полной программе. О, да! Печень бы съела. Папа знает.

Так что, когда Сонечка сама нечаянно обидела маму, ей нестерпимо захотелось нежности или хотя бы простого человеческого тепла. Как-то сразу припомнился Эдик. Она весь вечер ждала от него какого-нибудь проявления, но тот после трёх-четырёх дней бесполезной осады сдался и пропал.

«Фи! Какой же дурак!» – с досадой заключила Сонечка и в подавленных чувствах легла спать. Маму на ночь не поцеловала. Впрочем, маму на ночь не поцеловал даже папа. Папе этой ночью пришлось спать в зале. Похоже, и он по инерции нарвался на мамин гнев.

Папа до полночи не спал. Голубоватые всполохи от телевизора озаряли тёмный коридор через приоткрытую дверь в зал. Зато звуков не было почти никаких. Чтобы не потревожить чуткий и драгоценный сон мамы, он и курить ходил на кухню, боясь хлопнуть на балконе чем-нибудь сослепу.

Сонечка вместе с ним тоже не спала полночи. Всматривалась грустным взором в голубоватые всполохи в тёмном коридоре и думала об Эдике. Так было одиноко и пусто без него. Так отчего-то стало жалко его. Почти как папу. И себя тоже стало жалко.

Сонечка, не выдержав, немного поплакала и, порывисто схватив мобильник, отправила Эдику смс-ку: «Ты спишь?». Эдик не ответил. Тогда она встала, накинула на себя красный домашний халатик из обворожительно-нежного шёлка (аж мурашки пошли по коже!) и пошла плакать к папе.

Папа, грустный и осунувшийся, сидел в кресле, держа в одной руке бутылку пива, а в другой пульт от телевизора. Голубовато-мертвенные всполохи от экрана делали его тёмную, худо-

щавую фигуру ещё более сентиментальной и трагической. Услышав скрип двери, он спохватился, будто пробудившись от тяжкого сна, и торопливо поставил бутылку пива за кресло.

– Папа, это я, – всхлипнув, успокоила его Сонечка. – Ты не спишь?

Он многозначительно и тяжело вздохнул.

– Нет, чё-то не спится...

Сонечка поправила расплзающийся в разные стороны, сползающий с по-девичьи чётких форм в обворожительной шёлковой нежности халатик и покрепче затянула поясок. Так бы, конечно, и не страшно. Даже наоборот... В другой раз полезно иногда и «забыть» про поясок и про «поправить». А что? Женственно. Призывно. Сексуально. Но тут всё-таки папа...

– Тебе же завтра на работу...

– Мне, Сонь, и послезавтра на работу... и в субботу...

– А чего к маме не идёшь?..

Сонечка сиротливо присела на краешек дивана и подобрала под себя ножки, попутно одёрнув женственность, прикрыв ручками призывность и невинными глазками отпихнув от себя сексуальность.

Папа, внимательно взглянув на неё, извлёк из-за кресла своё пиво и снова многозначительно вздохнул.

– Печень берегу. Нет уж... Я лучше и в воскресенье на работу схожу.

– Папочка, не переживай, – снова всхлипнула Сонечка. – Она и на меня обиделась...

Он запрокинул голову, влил в рот остатки пива, встал с кресла и подошёл к окну. На мгновение чуть приоткрыв шторку, как-то обречённо вернулся назад, по ходу погладив Сонечку по головке.

– Не плачь.

– Я не плачу.

– Плачешь.

– Нет.

– Да. Нет уж... Давай лучше спать. Успеешь наплакаться...

– Папочка, почему успею?

– Все успевают. Жизнь такая. Если всё во внимание брать, то ничего не делай, только плачь да плачь.

– Мама не очень-то любит плакать.

– Любит, Сонь, любит, – загадочно улыбнулся папа и резко поднялся с места. – Ладно, пойдём. Я курить, а ты спать.

Он пошёл на кухню, а Сонечка в свою комнату. Ей заметно полегчало. Ей стало даже спокойно и радостно. Потому что ей нравилось разговаривать с папой. Слушать его тихий, всегда немного утомлённый и такой добрый голос. Видеть его печальное, несколько затравленное, но вместе с тем основательное и умное лицо. Быть с ним маленькой-маленькой девочкой, тащащей в рот всякие гадости и писающей в горшок. Ведь только с ним и можно такой быть. Ведь только с ним она такая и есть на самом деле. Ведь он только такую её и знает. Ведь только для него она так ещё и не выросла, учась на втором курсе университета и встречаясь с большими мальчиками. Да, ей нравилось так думать про папу. Папа не может быть другим.

Через пять минут папина голова, смущённо заглянув в её комнату, прошептала «спокойной ночи» и кротко исчезла. А ещё через десять погасли голубоватые всполохи, всё наполнилось тёплой, густой темнотой и стало по-настоящему тихо.

«Спокойной ночи», – запоздало улыбнулась Сонечка и закрыла глаза. Теплота, густота и темнота насели плотнее, и веки налились тяжестью, и уши пропитались вязкостью, а всё тело преисполнилось слабости. Такой беззащитной и блаженной слабости, на которую могут иметь право только поистине маленькие-маленькие девочки.

Сонечка открыла глаза. Голубоватые всполохи снова озаряли тёмный коридор. Также мертвенно. Также беззвучно. Они выхватывали из тьмы большой кусок на полу и стенах, обугливая края ядовито-ржавыми оттисками. Потом на короткое мгновение гасли, но оттиски как бы всё равно оставались, сквозя в зыбкой темноте еле различимыми прорезями.

Сонечка встала, накинула на себя свой красный халатик из обворожительно-нежного шёлка и пошла в зал – доглядеть, чего это папа опять не спит.

Папа по-прежнему сидел в кресле, ещё более грустный и ещё более осунувшийся. Опять с пивом. На экране крупным планом в остро-снежных помехах мигало немолодое лицо некоей женщины – совсем некрасивое, с каким-то вульгарным самодовольством, накрашенное вызывающе безвкусно, словом, отталкивающее, но отчего-то знакомое. Услышав скрип двери, папа торопливо поставил бутылку пива за кресло.

– Папа, это опять я, – успокоила его Сонечка. – Ты всё не спишь?

Он повернулся к ней всем телом, перегнувшись через мягкий локоток кресла.

– Нет, чё-то не спится...

На экране лицо исчезло, и в помехах стали появляться сначала чьи-то руки, потом ноги, потом разные части тела. Картинки менялись чрезвычайно ускоренно, но Сонечка успела заметить, что все тела были обнажены.

Она смущённо поправила свой сползающе-расползающийся в обворожительной шёлковой нежности халатик и покрепче затянула поясок. Всё-таки папа... Да ещё такие картинки...

– Тебе же... завтра... на работу...

– Мне, Сонь, и послезавтра на работу... и в субботу...

– А... к маме... чего не идёшь?..

Она окончательно растерялась, поняв, что повторяется, а попросту бред какой-то несёт, но ничего не могла с собой поделать. Мысли сбились в кучу, язык сам по себе, уши сами по себе, глаза сами по себе – то есть то на папу, то на экран. Забыла, зачем пришла. Не знала, что сказать. А потому просто сиротливо присела на краешек дивана и подобрала под себя ножки, натянув до отказа на голые бёдра непослушно короткую шёлковую ткань.

Папа, внимательно понаблюдав за её бесполезными мучениями, извлёк из-за кресла своё пиво и тоже повторился:

– Нет уж... Я лучше и в воскресенье на работу схожу. Печень дороже.

– Папочка, не переживай, мама и на... – начала Сонечка и осеклась.

Тела на экране по очереди насиловали ту некрасивую женщину. Хотя, может, и не насиловали. Она то как бы вырывалась, то сама набрасывалась на тела, то умоляла их о чём-то. Всё это выглядело так... странно, так мерзко, так непонятно. Но очень правдоподобно, очень жизненно, не по-киношному, а потому – страшно и как-то... чересчур грязно, чересчур безысходно, чересчур неумолимо. И оттого Сонечке легче было думать, что это насилие.

Папа запрокинул голову, влил в рот остатки пива, встал с кресла и подошёл к окну.

На пару секунд приоткрыв шторку, он вернулся назад, остановившись возле Сонечки и погладив её по головке.

– Не трахайся.

– Я... не трахаюсь, – она испуганно посмотрела ему в глаза.

– Трахаешься, – спокойно сказал он, не отводя цепкого взгляда.

– Нет.

– Да. Нет уж... Давай лучше спать. Успеешь натрахаться...

Последнее прозвучало не только спокойно, но и мягко, что позволило Сонечке немного взять себя в руки.

– Папочка, почему успею?

– Все успевают. Жизнь такая. Если всех во внимание брать, то ничего не делай, только трахайся да трахайся.

Он вдруг наклонился к ней и дёрнул за пояс. Шёлковая нежность блядски податливо расцепилась, высвобождая чёткие девичьи формы. Его руки поднялись на плечи и опустили халатик вниз.

– Мама не очень-то любит трахаться, – с трудом проглотив вязкую слюну, услышала свой голос Сонечка.

– Любит, Сонь, любит, – загадочно улыбнулся папа и схватил её за руки. – Ладно, пойдём спать.

Он повлёк её за собой. Она сделала слабую и какую-то неумелую попытку сопротивления, напоследок узнав некрасивую женщину на экране. Это была мама.

Они пробежали сквозь ядовито-ржавые оттиски, в коротких перерывах тьмы обжегшись о прорези. Сонечка, пока дошла, обнажённая, успела нешуточно замёрзнуть. Кожа покрылась шершавыми и зябкими пупырышками, а тело сотрясала мелкая дрожь.

Папа, уложив её на кровать и заботливо укрыв одеялом, прилёг рядом. «Спокойной ночи», – услышала она сзади его тихий и немного утомленный голос и почувствовала, как нечто горячее и настойчивое проникло в её собственный бесстыдно трепещущий жар...

Сонечка проснулась от пронзительного «динь-динь». Смс-ка. От Эдика: «Маленькая моя, прости, я не слышал, но я не спал».

Прочитав, она оглядела комнату и почти тут же заметила, что шёлкового красного халатика не было на спинке стула – обычном для него месте. И на спинке кровати – необычном для него месте – его тоже не было. И на компьютерном столе – непозволительном для него месте – его не было. И на полу – последней для него возможности вообще быть в этой комнате – не было.

Сонечка, сидя на кровати, накатала Эдику ответ: «А что же ты делал в три часа ночи, если не спал?». Но её волновало не это. Не Эдик. Не Эдикова смс-ка. Не все смс-ки в мире. Её волновал её халатик. Куда он делся? Уж не в зале ли?!

Эдилов ответ от таких потрясающих воображение и взрывающих без того офигевший мозг мыслей заставил её вздрогнуть: «За компом сидел».

Сонечкино сердце то обморочно замирало, то панически готово было покинуть хрупкую, содрогающуюся от волнения плоть. «За компом сидел и не слышал?» – набрала она сначала посиневшими, а потом побледневшими пальцами, и, закутавшись в одеяло, устремилась из своей комнаты в зал.

Мама, такая существенная и внушающая трепет, сидела в кресле, держа в одной руке нечто кондитерское, а в другой пульт от телевизора, услышав скрип двери, со степенной нетопливностью обернулась.

На экране несколько мужиков тащили куда-то молодую и красивую девушку, явно злоумышляя насилие. Она как бы вырывалась, но не могла вырваться. А они как бы ей завладели, но никак не могли завладеть окончательно. Киношно. Не страшно. Но почему-то всё равно странно, мерзко, непонятно.

И странность, мерзкость, непонятность нарастали с каждым новым ударом сердца, совпадающим с искусственным криком той девушки.

– Это я, мам, – услышала свой глухой, обесцветившийся голос Сонечка. – Ты не видела... мой халатик... красный такой?..

С невероятным усилием воли её глаза решились взглянуть на диван и с некоторым облегчением отметили отсутствие халатика в самом роковом для него месте.

– Я стирку затеяла, – строго и обиженно ответила мама, отвернувшись. – Других халатиков нет, что ли, ты в одеяло закуталась, как сирота?

– А... где он был... халатик? – Сонечка с трудом проглотила вязкую слюну.

– Ну а где ему быть, Соня? – рассердилась мама, уронив большую кондитерскую крошку на пол. – На стуле у тебя валялся! Ты чё, не выпалась?! Или переспала?!

«Уф, опять сон!» – выдохнула ошарашенная маминой руганью Сонечка и на невесомых крыльях радости упорхнула в свою комнату. Нет, выпалась! И не переспала! Самое главное – не переспала: с па... Ни с кем не переспала.

Динь-динь! Эдик: «Ладно, маленькая, прости, я спал».

Она обессилено упала на кровать и с подчеркнутым безразличием отстранила от себя телефон. Да что же это такое? Приснится же такая дрянь! Чёртов халатик...

Сон 4. Юбочка

В июне началась сессия. И сразу же не заладилась. Первый же зачёт – по русской истории – Сонечка не смогла сдать вместе со всеми «нормальными» студентами, пришлось второй раз приходить, теперь вместе с «ненормальными».

Профессор – маленький кругленький добрячок – кажется, Вениамин Иосифович (или Иосиф Вениаминович?), улыбнувшись, принялся «валить»:

– А скажите мне, сударыня, как вы относитесь к судебной реформе 1864 года в России?

– В России? – Сонечка тяжело и обречённо вздохнула. – Положительно.

– Тогда вы, наверно, поделитесь, в чём же она заключалась, эта самая реформа?

– Наверно, поделюсь... – поблуднев, растерялась Сонечка. – Она заключалась... в реформе... суда и...

Профессор задумался, как будто с некоторым сомнением, наконец утвердительно кивнул, но всё-таки продолжил «валить»:

– И?

– ...и суда...

– И суда. Суда и суда. Туда и сюда. Тот есть двух судов?

– Нет, одного, – торопливо заверила Сонечка.

– Ага. Так какой же суд реформировали?

– Российский...

Профессор усмехнулся:

– Понятно, что не китайский. Какой суд был в России до 1864 года?

Сонечка почувствовала, как нечто неповоротливое и обидное встало в горле и мешало говорить.

– Несправедливый...

– Великолепно! – обрадовался добрячок, и глаза его заблестели. – И что же сделали с этим вашим несправедливым российским судом? Только, пожалуйста, не говорите, что его реформировали. А то мы так долго с вами будем разговаривать. Как его реформировали?

Сонечка, подавившись «неповоротливым и обидным», молчала.

– Ну же, сударыня! Смелее! Какой суд появился в России после 1864 года? Быть может, суд присяжных? Или, к примеру... народный суд? Или же суд Линча вообще? Линч, как вы считаете, часом не русский?

В свете неповоротливости и обиженности все три варианта показались неверными. Линч, конечно, сразу отпал, пусть даже он и русский. «Потому что это режиссёр». Суд присяжных тоже что-то не то... «Это в Америке такая муть». А народный суд сердце никак не принимало, так как он шёл в разрез с Сонечиным вкусом. Где, где, а в народе только один суд – злорадный и немилосердный. «Хотя... у нас всё народное, блин». И Сонечка неохотно выбрала второй вариант.

– Народный? Интересно! Так-так... А кто же, по-вашему, сию реформу нам учудил? Какой же царь?

– Царь?..

– Не царь? Был такой в России царь – Александр Второй – не он ли?

Сонечка, засомневавшись, промолчала.

– Нет? Значит, всё-таки не царь? А кто же? Быть может, Ленин? Как вам кажется?

Сонечке показалось, что и не Ленин. Про Ленина революцию проходили, а не народный суд.

– Ну что же вы молчите? – развеселился профессор. – Уж не Владимир ли Владимирович Путин?

«Неповоротливое и обидное» проскреблось по горлу вверх и выступило на глазах мутными и вязкими слезами. И ещё горькими. Очень горькими. Потому что профессор тоже сразу проникся и загрустил.

– Ну... не плачьте, не плачьте. Суд он и суд. И всё-таки реформа-то 1864 года при царе, конечно, была, сударыня, Александре Втором... А заключалась она в том, что старый – несправедливый, как вы выразились, – сословный суд упразднили и ввели суд присяжных, мировой суд и адвокатуру... У вас папа случайно не адвокат?

– Нет, он... заведующий складом...

– Заведующий складом? – оживился профессор. – Так, может быть, вам папа поможет со всей этой вашей... историей?

– Не знаю...

– Поможет-поможет. Я знаю! Не переживайте. Приходите завтра. И... следующего там позовите!

Сонечка, ноготками мизинцев смахнув слёзы, с чувством выполненного долга на сегодня направилась к двери.

– До завтра, Вениамин Иосифович. Спасибо.

– Иосиф Вениаминович. Пока не за что. До завтра, сударыня.

На следующий день Сонечка подготовилась очень тщательно. Во-первых, вложила в зачётку папину «помощь» в виде дивно пахнущего мамиными духами белого конвертика. Во-вторых, надела коротенькую юбочку аспидно-синего цвета, а под неё лёгкий элегантный пиджачок, а под него изумительную деловую сорочку со всякими головоморочками, и в качестве фундамента всем этим делам, а больше стройным и дерзким ножкам, извлекла из глубин обувной полочки серьёзные, но изысканные туфельки с высоким острым каблукком.

Однако «дерзителем и стройнителем» ножек всё-таки оставалась аспидно-синяя юбочка, еле закрывающая небесно-голубенькие трусики (да, на всякий случай под цвет), но и закрывая, всегда подразумевающая их пусть неаккуратную, но невинную близость. А что? Чувственно. Броско. Сексуально.

В течение получаса Сонечка превратилась в настоящего аспиды и хищнически отправилась к маленькому кругленькому добрячку получать зачёт.

Профессор встретил Сонечку весьма благожелательно и, протянув ей зачётку со своим автографом (сперва невозмутимо удержав папину «помощь» с мамиными духами), благожелательно же отпустил. Так что всё оставшееся время в университете ей оставалось лишь наслаждаться своим успехом. Благо, аспидно-синяя юбочка безотказно действовала на одногруппников мужского пола, из-за чего наслаждаться было вдвойне приятнее. И Сонечка, конечно же, наслаждалась.

А что? Сегодня можно, следующий зачёт только завтра. «Завтра» же казалось отчего-то невероятно далёким. Поэтому, понаслаждавшись в университете, Сонечка решила продолжить наслаждение и в вечернее время – в компании Эдика, который был тоже безумно рад великолепной аспидно-синей юбочке ввиду неаккуратной, но невинной близости трусиков.

Сонечка в глубине «трусовой» души, кажется, тоже была этому рада. Радостная, она заявила домой часов в одиннадцать.

– Ну? – оторвавшись от кружки с чаем, спросил папа.

– Поставил, что ли... этот твой Ёся? – оторвавшись от кастрюли с супом, спросила мама.

– Поставил, – уже не так радостно ответила Сонечка, потому что «завтра» следующего зачёта отчего-то больше не казалось невероятно далёким.

– Взял? – помешивая чай ложкой, спросил папа.

– А то не взял! Ёся ли не возьмёт? – помешивая суп половником, ответила ему мама.

И они оба потеряли к Сонечке всякий интерес, чем она тут же и воспользовалась, исчезнув в своей комнате. Разделавшись с третьей попытки с русской историей, ей, вероятнее всего, теперь необходимо было с благоразумием засесть за русскую же литературу, но... как же надо-ели все эти «Гоголи-моголи». «Понапишут всяких „Идиотов“, а ты потом учи: „Белинский то, Герцен сё, а главное – Добролюбов!“. Фи, противно!». Ну, если уж не учить, то хотя бы шпоры из инета скачать ей, конечно, надо было... но она поленилась. «Да ну, там сейчас опять со всех сторон: „Привет. Как дела?“. Фи, надоело!».

В общем, она ограничилась тем, что прочитала вопросы и позвонила знакомой старшекурснице, навела справки про дядечку-литератора. Старшекурсница обнадёжила: «Ой, он так девочек любит! В основном, к парням придирался». Сонечка сразу успокоилась и смертельно захотела спать.

Она с усердием приняла душ, скинув небесно-голубенькие трусики, ещё хранившие тепло Эдиковых ласк, в грязное бельё и, чистая-чистая, обрамлённая релаксирующим действием тёплой воды, мгновенно заснула.

Ей долго снилось, что она на каком-то неописуемо красивом, переливающимся разными цветами и ароматами лугу, что её там ждёт некто очень для неё знакомый и чрезвычайно нужный, и что она опаздывает к нему. И что – чтобы ей не опоздать – у неё есть как бы крылья. Да-да, такие... вроде небесно-голубенькие... И что она сама как бы бабочка. Иногда. Потому что цветочки всегда были разного размера. Иногда просто огромного. Тогда Сонечка была бабочкой. А иногда обыкновенного. Тогда Сонечка бабочкой не была. Она легкомысленно много уделяла времени этим цветочкам и продолжала опаздывать ещё больше.

А очень знакомый и чрезвычайно нужный где-то терпеливо ждал. Но терпение его – Сонечка это ощущала с нарастающей остротой и страдала, испытывала тягостное чувство вины – омрачалось вопиющим Сонечкиным легкомыслием. Она же ничего не могла с собой поделать – глаза её разбегались при виде многообразия цветочков, и ей трудно было пропустить хотя бы одну грациозно склоняющуюся головку на этом лугу.

А луг казался таким огромным-огромным, и его огромность заставляла Сонечку с одной стороны печалиться, а с другой – соблазняться. Печалиться – потому что некто совершенно точно находился далеко в конце луга, а соблазняться – потому что её сердце хотело насытиться всеми цветочками.

Сонечка, бессмысленно кружа, совершенно выбилась из сил, и вдруг солнце померкло. Всё вокруг обернулось в тёмные тона. Запахи стали резкими, а сама красота превратилась в какую-то пугающую бездонность. Но некто всё ещё ждал.

Сонечка хотела было полететь к нему, но страх не позволил ей сделать это. Она хотела было успокоить себя и перестать бояться, но бессилие не позволило ей сделать это. Всё же взяв себя в руки, хотела набраться сил перед рывком, но тут пришли холодный рассудок и сомнение и не позволили ей сделать это.

Сомнение сказала: «Зачем тебе лететь?». Сонечка ответила: «Там меня ждёт некто». «Кто?» – скептически спросило сомнение. «Кто-то очень знакомый мне и чрезвычайно нужный», – ответила Сонечка. «Прямо уж такой нужный? Прямо уж такой знакомый?» – засомневалось сомнение, и Сонечка засомневалась вместе с ним. А холодный рассудок важно и исчерпывающе произнёс: «У тебя есть этот один цветок. Зачем тебе куда-то лететь? Да, он немного почернел. Но и крылья у тебя почернели. Останься здесь, не меняй то, что ты трогаешь руками, на то, что никак потрогать нельзя. Посмотри на эту бездонность. Где же красота? („Что, разве

была красота?“ – усмехнулось при этом сомнение) Красота в бездонности. Так что не искушай бездонность и не лишай себя хотя бы этого одного почерневшего цветка».

Сонечка посмотрела на свои почерневшие крылья и согласилась с холодным рассудком. Она огляделась и увидела в конце цветка деревянную дверь. Дверь распахнулась, и на пороге возник профессор Иосиф Вениаминович.

– А вам, сударыня, особое приглашение надо? У меня мало времени! – с негодованием прокричал он и исчез в темноте дверного проёма.

Сонечка последовала за ним и оказалась в университетской аудитории. За партами сидели «ненормальные» студенты, а на «галёрке» распивала пиво неприятно знакомая троица Сонечкиных бывших одноклассников.

Иосиф Вениаминович стоял возле доски.

– Вот сюда пройдите, сударыня, чтобы вас лучше видели.

При ярком свете аудитории Сонечка заметила, что на ней та самая аспидно-синяя юбочка со всеми вытекающими – пиджачком, сорочкой и туфельками. Ей стало как-то нехорошо. Что-то ей это всё напомнило. Но она решила не подавать виду и беззаботно подошла к доске.

– Я же говорил, что мы найдём тебя! – пропищал с галёрки первый из троицы.

– Цок! цок! – загоготал второй и суетливо продемонстрировал свой «орган».

– Твои каблучки снова привели нас к тебе, – пробасил третий.

– Тише там! – прикрикнул на них Иосиф Вениаминович и улыбнулся Сонечке. – Ну что же, вот и попали вы на суд!

– На суд?

– На суд, сударыня. А что вас удивляет? Суд – это такое дело... наживное. Всегда кого-нибудь судят. Сегодня и вы вот сподобились. Вот ваш любимый народный суд.

– Но я ничего не сделала! – запротестовала Сонечка.

– Так и ничего? – засомневался Иосиф Вениаминович.

– Ври! – пискляво заржал первый.

– Цок! цок! – захлёбываясь гоготал второй, размахивая своим «органом».

– А я было подумал, что ты нас, Соня, отпустила, – басовито усмехнулся третий.

– Так, тишина в суде! – снова утихомирил их Иосиф Вениаминович. – Ну что же, в соответствии с регламентом приступим.

Он одним ловким движением задрал Сонечкину аспидно-синюю юбочку, так что она оказалась у неё на животе, попутно скомкав лёгкий пиджачок. Сонечка всем своим естеством возмутилась от такого хамства, но поправлять не стала – всё-таки это суд! – ей казалось, что своим хладнокровным возмущением она отведёт от себя все несправедливые обвинения. И потом она же в небесно-голубеньких трусиках – безупречных хоть по виду, хоть по цвету, хоть по стилю. Их вина лишь в неаккуратной близости. И потому они, по сути, невинны.

– Вот вам и суды! – наклонившись, прокричал Иосиф Вениаминович. – Туды и сюды!

И с этим «туды и сюды» Сонечка почувствовала, что нет на ней никаких небесно-голубеньких трусиков. На ней вообще ничего нет. Она вообще незащищена, и каждый может пихать свои грязные пальцы в «трусиковую» душу.

Не только ненавистная троица, но и весь «народный суд» заметно оживился. Некоторые с жаром высказывались по увиденному и услышанному. Некоторые критиковали. Некоторые требовали личного участия.

Ненавистная троица с удовлетворением колошматила пивные бутылки об парты. Пиво и стекло обильно забрызгали всю аудиторию. Даже до Сонечки добрызгали. Она стала немного мокрая от пива и немного израненная от стекла.

– Про каблучки не забудь, Ёся! – пропищал первый.

– Цок! цок! – гоготал второй, обмочив угол аудитории.

– Не отпускай её, добрячок! – громогласно басил третий.

Сонечка, ощущая палец Иосифа Вениаминовича у себя внутри, снова подавилась «неповоротливым и обидным». Глаза её наливались медленно, но верно, с каждым профессорским «туды-сюды», и в итоге прорвались мутной, вязкой и горькой жидкостью. Очень горькой, потому что Сонечка хотела плакать глазами себе на щёчки, а заплакала «трусиковой» душой Иосифу Вениаминовичу на палец.

– Ну не плачьте, не плачьте. Суд он и суд, – снисходительно утешая, он повернул её к «народному суду» задом, что вызвало частью неодобрительное гудение, частью бурные овации. – Вы же понимаете, сударыня, что я не могу вас отпустить. И папа вам помочь не сможет...

– Но я требую адвоката! – с горечью выдохнула Сонечка.

– Адвоката? – Иосиф Вениаминович остановился, но пальца не отнял. – Разве у вас есть адвокат? Нет? Ну, хотите, народный суд вам предоставит адвоката? Вон того забавного, с причиндалом, хотите? Или здоровяка? Да хоть всех троих забирайте!..

– Не хочу! У меня есть адвокат!..

– Есть?

Сонечка почувствовала, как палец ушёл из неё, и она стыдливо загородила себя краешками своих почерневших крыльев.

– Да, есть.

– И кто же он?

– Некто.

– Некто?

– Да некто. Кто-то очень мне знакомый и чрезвычайно нужный. Он ждёт меня на краю луга. Я намереваюсь лететь к нему, и ваш цветок мне не нужен.

На этом Сонечка проснулась. Она села на кровати и сама себя спросила вслух:

– Да что это за говно?!

Губы её сердито сузились. Глаза источали гнев. Лоб нахмурился, и всё лицо наполнилось непримиримой ожесточённостью.

Она твёрдо решила, что больше не будет обращать внимание ни на странность, ни на мерзкость, ни на непонятность этих своих странных, мерзких и непонятных снов. А что? Достало уже! И не важно – к чему? зачем? за что?

Сон 5. Летнее платье

Всю зачётную неделю Сонечка ходила в той аспидно-синей юбочке. Надевала под неё всё, что хотела. И всё такое – с выпендрёжем, как можно более вызывающее. Назло. А что? Клин клином. И сны прекратились. Не то что тех странных, мерзких и непонятных не было, но вообще никаких.

Сонечка приходила домой поздними вечерами после успешно сданного или катастрофически не сданного зачёта да после Эдика уставшая и, не помня себя, валилась спать. Утром еле-еле раздирала глаза, принимала ободряющий душ, натягивала вызывающие шмотки и снова ехала в университет.

И вот наступила пора экзаменов. Зазоры между каждым из них были большими – почти целую неделю, и Сонечка теперь могла вздохнуть с облегчением. Высыпаться стала. Человеком себя почувствовала.

Только по утрам беспокоила слабая головная боль, как от недосыпания или пересыпания. Это продолжалось и перед первым экзаменом, и перед вторым.

Снов по-прежнему не было. Или были, но Сонечка ничего по пробуждении не помнила. Хотя какие-то невыразительные обрывки иногда всплывали в голове, той самой слабой болью вырывались куда-то наверх, в сознание, но она так пугалась что-либо помнить, что обрывки сразу же загонялись обратно в подсознательную глубину.

На консультацию перед третьим и последним экзаменом Сонечка пришла в бледно-розовом летнем платье – таком весьма откровенном: лёгком до прозрачности и соответственно прозрачном до легкомысленности. Она и раньше его надевала, но только на свидания с Эдиком. Эдику очень оно приглянулось. Да и ни ему одному – на улице мужчины постоянно задерживали взгляд.

Пикантности, лёгкости и прозрачности добавляло ещё взглядозадерживающее Сонечкино бельё – его минимальное присутствие внизу и максимальное отсутствие сверху. А что? Цепко. Смело. Сексуально. В университет Сонечка лифчик всё же пододела, но так – под стать низу.

После консультации снова был Эдик. Он пригласил на выпуск старшего курса в своё училище. Сонечке очень понравилось. Курсанты стояли ровным строем на залитом солнцем плацу в отглаженных брюках, красивых фуражках и ослепительно белых рубашках с двумя маленькими звёздочками на новеньких погонах. Они выглядели так солнечно, так свежо, так неотразимо.

Особенно Сонечке понравилось то, что таким же неотразимым в следующем году будет и Эдик. Она впервые задумалась о том, что не так уж и плохо стать женой военного.

После Эдика снова был душ. А после душа необходимый сон. Всё-таки завтра последний экзамен. А он, как известно, трудный самый.

«Фьюжн – от английского фу-зи-он – сплав, слияние, современное стилевое направление...», – зевая, повторила зазубренное на консультации Сонечка и закрыла глаза.

Она проснулась среди ночи со страшной головной болью и непередаваемым ужасом в глазах и со всех ног кинулась в спальню к папе и маме. Бесцеремонно и судорожно растолкала обоих. Её поведение было полно безумия.

Папа, недоуменно и испуганно взирая на неё, поспешил надеть штаны, как будто собирался непременно теперь же куда-то бежать.

Мама, нахмурив брови, молча наблюдала за тем, как дочь носится по комнате, заламывая себе руки и затравленно озираясь по сторонам.

– Ой, мамочки!.. Ой, мамочки!.. – причитала Сонечка в полубморочном состоянии.

– Отец, принеси воды ей, раз штаны надел, – наконец произнесла мама с чуть заметной дрожью в голосе. – А ты... Сонька!.. иди сюда, иди сюда, дочка, иди сюда, говорю, иди сюда, доченька моя миленькая!.. Да иди же сюда...

Она схватила Сонечку за край ночной сорочки и привлекла к себе, посадив на кровать. Тут же подоспел папа с водой. Вода мамиными устами немного охладила Сонечкины горящие краснотой щёки.

– Что случилось-то, Соня? Что с тобой? – мягко спросила мама.

– Ой, мамочки!!! – заревела Сонечка.

Папа побледнел и побежал курить. Кружка с водой, оставленная им на кровати, упала, намочив одеяло.

Мама, терпеливо вздохнув, коротко и хлётко врезала дочери правой рукой по левой щеке. Та резко перестала реветь. Мама вдогонку коротко и хлётко врезала дочери левой рукой по правой щеке. Та обмякла и затихла.

– Ну?

– Курсант из Эдикова училища... – снова заплакала Сонечка, но уже с присутственностью и конструктивностью. – Большой такой... со щетиной... горилла недоделанная... ненавижу!.. Чтоб он сдох!!!

Маме пришлось опять привести сознание дочери в чувство. Правой. Потом левой.

– Ну и? Что он... этот курсант?

– Схватил меня... голову вот так вот зажал между колен... А я была в этом платье... моём... розовом таком... они разодрали его и...

– Кто это они-то теперь? – стальным голосом спросила мама.

– Курсанты!!! – заголосила Сонечка. – Я им говорю... что вы делаете?.. Перестаньте... А этот, скотина, держит голову... между колен своих вонючих... сдавил, урод... до сих пор болит... и говорит... сплав будем делать с тобой...

– Что?

– Сплав, говорит, будем делать с тобой... Я хочу вырваться... что?.. говорю... А он – слияние... Я говорю... не надо... я не хочу... Не хотела бы, говорит, платья такие... не надевала бы...

Вернулся папа.

Сонечка, посмотрев на него с негодованием, продолжила:

– Не знаю, сколько их было... все, наверно... до одного... Я думала... умру... А этот, скотина, всё держит и держит... А потом пришли эти... с нашего двора... учились со мной... ну, эти... которые из соседнего дома... И тоже... Пристали ко мне за чёртовы каблуки...

– Какие каблуки?

– Да любые... Каблуки нельзя надеть... лезут сразу...

– Так, отец! – сказала мама. – Звони этому твоему... собутыльнику из РОВД... Хватит так просто водку да коньяки твои жрать!.. Пусть отрабатывает: ему добро – и он пусть!.. Дочь, скажи... изнасиловали!..

Папа побежал в коридор за телефоном.

– Мне уже не первый раз такие сны снятся... – тихо всхлипывала Сонечка. – Но этот самый странный... самый мерзкий... самый непонятный... К чему?.. А, мамочка? Произойдёт, что ли, со мной что-то плохое?.. Зачем?.. Мамочка, я боюсь... Я что, не так что-то делаю разве?.. За что?.. За что, мамочка, мне такие сны?..

– Какие сны? – опешила мама. – Это что... сон, что ли, тебе приснился?

– Сон...

– Тьфу! – мама сердито, но с облегчением сплюнула. – Отбой, отец! Пусть спит мент твой...

– А что? – папа застыл в дверях с трубкой.

– Ничего. По курсантам меньше шлаться надо.

– Я не шлалась. Меня Эдик пригласил, – осторожно огрызнулась Сонечка.

– У тебя завтра какой экзамен?

– Современное искусство...

– Вот ведь до чего детей доводят, – засмеялась мама. – Насмотрятся всякого... искусства... а потом им снится не пойми чего...

– Сон, что ли, приснился? – догадался папа.

– Сон, сон... – ответила она. – К тебе за коньяком из психушки случайно никто не ходит? Мозги чтоб вправил пигалице этой... Спать, Сонька, иди, экзамен же завтра! Не сдашь ещё хрень свою...

Сонечка выпила таблетку от головы и сконфуженно ушла в свою комнату досыпать.

А мама, глубоко вздохнув, спросила папу:

– Современное искусство – это когда голышом, что ли?

– Да, – ответил он.

Сон 6. Купальник

Экзамен Сонечка сдала. И папа вознаградил за это путёвкой в Турцию. Ах, как она обрадовалась! Вау, целых две недели на море! В самый разгар лета! Впервые без мамы! Это последнее перевешивало первое и второе, вместе взятые, раз в десять.

Всё-таки Сонечка регулярно, каждое лето, хотя бы одну маленькую недельку отдыхала на каком-нибудь южном море. Она с восьмого вроде класса, с тех пор, как папа стал заве-

дующим складом, даже не могла представить себе лето без моря. Но море это (и всё, что с ним связано!) всегда было под бдительным присмотром мамы. Поэтому отдых редко удавался настолько полноценным, насколько того хотелось. А тут такая свобода!

В Кемер Сонечка прибыла в начале второй июльской декады и сразу же получила первую мощную дозу положительных эмоций – солнце. Безудержное. Блистательное. И безумно ласковое. Такое, каким оно и должно быть летом. И каким в России вот уже две недели оно не являлось: в первую – невозможная испепеляющая жара, во вторую – непрекращающиеся тучи и соответственно дожди. Кто-то этому радовался. Например, мама – на даче, мол, всё оживёт. Например, папа – на складе, мол, не так душно будет. И Эдик тоже не скрывал удовольствия поначалу. Но только не Сонечка. Она не радовалась ни тогда, когда были дожди, ни тогда, когда стояла жара. Потому что ждала Турцию. И вот Турция настала, и Сонечка не могла не радоваться.

Вторая мощная доза положительных эмоций заключалась в труднообъяснимом внутреннем удовлетворении. Оно немного было похоже на аэропорт «Шереметьево», немного – на свежий штамп в загранпаспорте, немного – на выскочившее из уст кого-то из подружек слово «правда?», немного – на заморские сувениры, немного – на южный, такой многозначительный и сам за себя говорящий загар – и никак не относилось ни к морю, ни к пляжу, ни к солнцу.

Удовлетворение всегда неминуемо начиналось в день прилёта, потом постепенно затихало и совершенно пропадало, но будто птица феникс торжественно восставало из утомительного пепла в день возвращения и сохранялось настолько долго, насколько держался импортный загар.

Эйфория от этого труднообъяснимого удовлетворения в день прилёта позволяла с ошеломляющими скоростью и естественностью заводить знакомства и иногда даже короткую, но яркую и богатую впечатлениями дружбу.

Сонечке повезло – с симпатичной и интересной в общении девушкой Юлей короткость курортной дружбы продлилась за счёт совместного проживания в номере отеля по воле туроператора.

Юля оказалась идеальной подругой – немногословной и потому серьёзной, без лишних амбиций, но с чувством собственного достоинства – и потому надёжной, и, наконец, замужней и потому опытной, и опыт её имел характер покровительствующий, а не соперничающий, как часто бывает с незамужними.

И потом она при всех своих внешних и внутренних достоинствах всё же уступала Сонечке и в привлекательности лица, и в соблазнительности форм, а такую «уступающую» подругу приятно иметь любой красивой девушке.

В общем, Сонечка ликовала. Ей без мамы как раз и не хватало серьёзной и надёжной опытности.

И вот – недостающая опытность появилась, и мамы в ней не было. В ней была классная и всё понимающая новая подруга Юля. И это принесло третью мощную дозу положительных эмоций.

Но всё бы так и осталось бессмысленными положительными эмоциями, если бы Сонечка не могла сделать то, ради чего ей вообще нужны были эти моря, эти пляжи и эти солнца – надеть купальник. Не просто нацепить из-за жары на даче или из-за купания на деревенском озере. А именно надеть и довольствоваться собой.

И не абы какой. А наиболее тот, который хочется.

И Сонечка взяла с собой в Турцию такой купальник.

Это был георгиново-жёлтый бикини с тоненькими завязочками на бёдрах низа и на шее и спине верха. Завязочки непринуждённо переходили в треугольные лоскутки из нежнейшей ткани. Нежность ткани естественно соседствовала с беспомощностью. Беспомощность же была о двух концах. С одной стороны, лоскутки скорее прикрывали, а не закрывали, да и то, что они

прикрывали, прикрывалось лениво и небрежно. С другой – даже то, что они всё-таки умудрялись прикрывать, не могла прикрыть уже та самая нежность: в двух верхних жёлтых треугольничках проступали всем своим эрегированным объёмом тёмно-розовые кружки с бугорками; задний нижний вопиющим образом сползал в междугодичное пространство, а передний стыдливо прикрывал лишь самое «то», позабыв уже о всех к нему подступах (по этой причине Сонечка заблаговременно сделала себе интимную стрижку), которые нескромными чернеющими точечками прижимались к прикрываемому, прикрываемое же сквозь жёлтую нежность ткани зияло всей непосредственностью своей физиологической панорамы. Сонечка хотела именно это, и она это надела.

«А что? – сказала она Юле перед зеркалом в их номере. – Пикантно. Нежно. Сексуально». Юля улыбочиво промолчала, и они грациозно отправились покорять турецкий берег.

Георгиново-жёлтый бикини ожидаемо принёс четвертую мощную дозу положительных эмоций. Эффект, вызванный им в радиусе двадцати-тридцати метров вокруг Сонечки, повлёк за собой и пятую. Таким образом весь двухнедельный отдых прошёл под знаком положительных эмоций, и лишь напоследок навалилась некая усталость, меланхолическая утомлённость и ностальгическая тоска, что называется, по Родине – то есть по маме, папе и Эдику. Больше не радовали ни пляжи, ни море, ни солнце, ни экскурсии, ни магазины, ни кальяны, ни зажигательные вечеринки, ни даже сам георгиново-жёлтый купальник.

В последний раз искупавшись в Средиземном море в этом году, Сонечка прилегла на жаркий песок рядом с Юлей и загрустила.

Вдруг над ними нависли две тени, и послышался вежливый мужской голос:

– These Russian girls are the most arrogant and sexy beauties of our beach! Hi!

Сонечка обернулась и увидела двух молодых турок. Один в шортах и красной майке с большим белым полумесяцем и маленькой беленькой звёздочкой. Другой – в кремовых брюках и тёмной расстёгнутой рубашке, из-под которой выпячивалась сплошным шерстяным покровом волосатая грудь. Их смоляные головы блестели на солнце, и этот блеск отображался в лицах непонятной и настораживающей сладостью. Сонечка видела их мельком и раньше. Они оба работали в отеле.

– Hi! It's very well. We know this, – невозмутимо ответила Юля.

– Will I meet you tonight? – вежливый турок присел рядом с ней на корточки.

– Yes, I will.

– Okay, I'll wait for you.

– Okay.

Он поднялся, собираясь уходить. Но другой турок, с волосатой грудью, приостановил его.

– I see such a... pretty... girl... for the first time... in my life, – волнительно запинаясь, сказал он, и Сонечка поняла, что его слова обращены к ней. – Be my... baby tonight!..

– She doesn't speak English, – улынулась Юля.

– Okay, okay, – вежливый турок схватил приятеля под руку, повлёк за собой, мурлыкая ему что-то по-турецки, и крикнул, находясь уже на некотором удалении:

– Take her with you!

– Что они сказали? Что они хотели? – испуганно затараторила Сонечка.

Юля посмотрела на неё пристально и не очень одобрительно:

– На вечеринку приглашают сегодня. Завтра же отъезд. Пойдёшь?

Слова «завтра отъезд» отозвались в Сонечке приятным огоньком, и из утомительного пепла потихоньку стала выползать птица феникс труднообъяснимого удовлетворения, так пьянившего в первые дни.

Похоже, огонёк разгорелся и в самой Юле. Она выглядела странно возбуждённой всё последнее время, а сегодня вообще казалась преисполненной неудержимой энергии.

– А ты их знаешь?

– Да, в турецкой майке – это Казим. А тот, другой – Хамит. Они работают в отеле.

– Ладно, пошли, – неуверенно согласилась Сонечка.

– I'm such a fool, – мечтательно произнесла Юля куда-то в пустоту и, снова преисполнившись неудержимой энергии, побежала купаться.

Вечером они вдвоём пришли на вечеринку. Гостиничный ресторан, под завязку заполнившийся людьми, непривычно содрогался от мощных басов, эксцентрической цветомузыки, резкости и разнообразности запахов, выкриков ди-джея и человеческого безумия. Казим и Хамит уже ждали их на входе.

– All Russian parties are the best ever, – с вежливой улыбкой сказал первый. – Let's dance!

Второй промолчал. Только отчего-то не спускал с Сонечки глаз. Сонечке сразу стало не по себе.

– We would drink beer, – ответила Юля и целеустремлённо отправилась к стойке.

Бармен расторопно выдал всем по порции «Эфес Пилснера», и четыре бокала звонко цокнули друг о друга. От этого Сонечка вообще как-то выпала. Пива ей радости не приносило. Музыка не заводила. А Юля стала немного раздражать.

Да та и сама как-то неожиданно холодно отстранилась, разговаривая, в основном, с Казимом. Сонечка ничего в этих разговорах не понимала, а подруга эгоистично в их суть не посвящала.

После второго «Эфеса Пилснера» Юля, кажется, вообще позабыла о существовании Сонечки, удивительным образом преобразившись из привычно флегматичной особы в бурлящую страстями непослушную девчонку. Она смеялась, кокетничала, жеманничала, по поводу и без повода трогала Казима за плечо и без конца говорила, говорила, говорила. В ней и следа не осталось от первоначальных серьёзности и надёжности, а опыт стал отдавать нехорошими двусмысленностями.

Сонечка под неусыпным взором Хамита тоже пыталась быть в теме – кивала головой, стреляла глазками, кричала «у-у-у!» вместе с многоголосным женским визгом, когда ди-джей в очередной раз ставил русскую попсу, но расслабиться и получить удовольствие никак не могла.

А потом Юля с Казимом ушли танцевать и не вернулись. И тогда начались настоящие проблемы.

– You're beautiful, – сказал Хамит и полез обниматься.

– Я... не понимаю... – выскользнула из его рук Сонечка. – No! No! I am sorry! No!

Но тот с южной настырностью продолжал обниматься, бормоча своё «beautiful», в котором иногда прорывались неприятно знакомые «хороший» и «красивый».

Всё это никак не убеждало в чистоте намерений волосатого турка, и Сонечка была вынуждена оставить его одного, лицемерно сославшись на туалет. Сама же принялась разыскивать Юлю. В ресторане её не оказалось, и она обиженно вернулась в свой номер.

Юля пришла часа через полтора, когда Сонечка уже легла спать.

– Вот ты где, дорогая! – с ходу накинулась та. – Чего ты ушла-то?

– А ты чего ушла? Я одна, что ли, должна там быть с турком этим? Где ты была?

– На море с Казимом.

– Вот ты даёшь... – опешила Сонечка. – Ночью... одна пошла...

– Не мужу же одному давать! – грубо перебила Юля. – И не ему одному брать, дорогая!

– Чё... чё-то было у вас с... Казимом этим?

– Ну было. Ладно, не делай такое лицо. Сегодня последний день, надо же зажечь под конец. Или ты спать?

– Я спать, – виновато кивнула Сонечка и зачем-то с головой накрылась одеялом.

Юля ушла. Ключ два раза скрипнул в дверном замке, и её шаги стремительно пронеслись по коридору.

«Does she sleep?» – послышался голос вежливого турка. Ему ответила что-то Юля сердито, неразборчиво, и всё стихло. Лишь где-то внизу приглушённо гроыхали басы. Только тогда можно было облегчённо вздохнуть и высунуть из-под одеяла голову.

Сонечка пробудилась от невыносимой тяжести и жгучей боли. Раскрыв глаза, она увидела торжествующее лицо Хамита. Лицо издавало утробные, с придыханием, звуки «ы-ы-ы», и с каждым «ы» становилось всё тяжелее и больнее. Тяжесть сосредотачивалась главным образом на правой груди, которую зажимала рука Хамита, а боль «ы-образно» распространялась на подступах и внутри «того» места.

Сонечка попыталась освободиться. Но тяжесть и боль от этого только усилились. Тогда – чтобы ослабить тяжесть – она схватила Хамита за шею, а чтобы ослабить боль, широко разняла ноги.

– Ы! – с утробным придыханием навалился Хамит, всею своею крепостью вдавливаясь в Сонечкину глубину. – ...Beautiful ass...

Сонечка отвернулась в сторону, к стене, чтобы не видеть его лица. Её сердце бешено колотилось, и она подумала о том, как ей повезло, что он зажал правую грудь, а не левую. Иначе бы пришлось помереть.

– Ы! – с утробным придыханием навалился Хамит, всею своею крепостью сминая Сонечкину глубину. – ...Beautiful tits...

Сонечка, закрыв глаза и прикусив губу, старалась ни о чём не думать. Только её тело самовольно иногда приподнималось на волне некоей судороги, изгибалось и расплавленно сползало вниз.

– Ы! – с утробным придыханием навалился Хамит, всею своею крепостью пронизав Сонечкину глубину и остановившись на самом дне. – ...Beautiful pussy... I come...

Глубина наполнилась обжигающей чужеродностью и обмелела. Сонечка открыла глаза и, повернувшись теперь от стены в другую сторону, лишь бы не смотреть на торжествующее, заглядывающее лицо Хамита, увидела Юлю.

Юля лежала на ослепительно-жарком песке боком, подставив под голову руку, в Сонечкином георгиново-жёлтом бикини и улыбалась. За её спиной синело безоблачное небо, и слышался шум моря.

Сонечка видела в жёлтых треугольничках своего бикини сверху большие Юлины тёмно-розовые кружочки с бугорками. Они давили на нежность треугольничков так сильно, что совсем не помещались под ними. А внизу непопущаемое выпирало во все стороны густым шерстяным покровом, похожим на волосатую грудь Хамита.

Вдруг синее небо за спиной Юли стало темнеть, пока во всей высоте небосвода не появились две чёрные тени.

Сонечка больше не чувствовала ни тяжести, ни боли. Не чувствовала также ни крепости, ни глубины. Напротив, ей чудилась во всём хрупкость и лёгкость. Даже слёзы выступили на глазах из-за такого невероятного ощущения.

Поэтому она встала и, легко перепрыгнув Юлю, побежала вдоль берега, пока не оказалась перед высоким обрывом. Оттуда, снизу, как-то знакомо повеяло резкими запахами и пугающей бездонностью.

И тогда Сонечка узнала те две чёрные тени. «Разве узнала?» – скептически усмехнулось сомнение. «Узнала, – холодно сказал холодный рассудок. – Что теперь, Соня? Ты всё-таки хочешь покинуть этот цветок?». «Да, хочу», – ответила Сонечка. «А разве некто тебя ещё ждёт?» – вкрадчиво спросило сомнение. «Посмотри на себя. Ты же голая. Зачем ты ему такая нужна?» – добавил холодный рассудок голосом сомнения. Сонечка посмотрела. Да, действительно абсолютно голая. «А что? Сексуально. Очень сексуально. Пи**ец, как сексуально», – подбодрило сомнение голосом холодного рассудка. «Да, точно, – сказала Сонечка. – Я вас просто перепутала. Из-за этого не смогла ни сомневаться, ни рассуждать. Рассуждение моё сомне-

валось, а сомнение рассуждало. Выходит, я перепутала не только вас. Я перепутала чёрное с белым, и потому вы стали чёрными, и черноту эту, закружив себе голову, я полюбила».

И она, расправив свои хрупкие, лёгкие, чёрные крылья, прыгнула с обрыва вниз. Её подхватил порыв ветра из резких запахов и пугающей бездонности, стремительно понеся к краю помрачневшего луга.

Но на самом краю вдруг появился длинный коридор, через который Сонечка попала в небольшую комнату с окном почти во всю стену. От этого окна комната озарялась каким-то сумеречным голубоватым светом. Стены под его воздействием как бы стекали на пол дымчатыми водопадами.

Сонечка вспомнила, что она раздета, и ей сразу стало холодно. Неожиданно сзади потопали чьи-то ноги и талию обхватили чьи-то руки, а вокруг, прячась в дымчатых водопадах, один за другим появились некие тела.

Сонечка вырвалась и подбежала к окну, ища в нём спасительное освобождение. Сначала она подёргала за ручки рамы, а потом, прислонившись лбом к сумеречно-голубоватым стёклам, попыталась хоть что-нибудь рассмотреть.

Там, за окном, оказалась ещё одна комната, очень большая, даже огромная, справа в ней стоял огромный диван, а слева – огромное кресло. В кресле сидел огромный человек. Лицо его было очень грустным и осунувшимся. В одной руке он держал бутылку пива, а в другой – пульт от телевизора. В огромном человеке Сонечка узнала папу и что есть мощи крикнула:

– Папа!!!

Но из горла вылетел лишь слабый стон, и папа ничего не услышал. Он только смотрел с безучастным выражением на своём грустном, осунувшемся лице и пил пиво. Сонечка хотела попробовать крикнуть ещё, но тут чьи-то руки вновь схватили её, и со всех сторон обступили тела. И она сдалась.

Тела по очереди насиловали её. Каждое тело подходило сзади, насиловало и отходило. Буднично, ненасильственно как бы. Возможно, они и не насиловали. Она сначала вырывалась с гневом, обречённостью, отпихивала их со злостью, а когда они отступали, то сама набрасывалась на них, покорно принимала нужное положение, чтобы им было удобнее насиловать. Потом опять гневно уклонялась от них, но в гневе её сквозило нечто двусмысленное, потому что, остыв, ей приходилось на коленях умолять их о продолжении насилования.

Наконец она смирилась. Уперевшись лбом в сумеречно-голубоватое стекло и глядя на папу, ей было легче в трёх главных вещах – в том, чтобы смириться, в том, чтобы не падать от бессилия, и в том, чтобы занимать удобное для тел положение. А упираться Сонечке помогала мысль, что это всё-таки насилие, а не её собственное произволение.

– Ты кто? – спросила она устало очередное тело.

– Да вы, девушка, меня не знаете, – ответил он, суетливо дёргаясь сзади, и на её спину попадали капельки его пота. – Как-то в метро я уступил вам место. Вы тогда ещё были в ярко-оранжевом топике.

Кончив, он ушёл. Пришёл другой, с дипломатом. Его Сонечка сразу узнала.

– П**ду не брей, – прошептал он ей на ухо, обтирая об него мокрые рыжие усы. – Я так не люблю.

– Нет, вам так лучше, – смущённо сказал некий молодой человек. – Я ещё тогда, когда вы на меня первый раз посмотрели своим выразительным взором, понял, что вам к лицу будет интимная стрижка. А когда второй раз посмотрели, то твёрдо решил – из бикини она должна немножко выглядывать.

– Я думаю, тебе вообще трусы не нужно носить, – пропищал следующий. – Только одни каблучки.

– А я думал, для чего мне эта хрень, – загоготал ещё один, бесцеремонно вталкивая в Сонечку свой «орган».

– Извини, я потихоньку, – пробасил новый насильник, но изнасиловал так яростно и грубо, по-медвежьи, что после него долго болело всё тело.

– Я вообще-то, сударыня, побаиваюсь молодых, – пыхтел Иосиф Вениаминович. – Но глаза-то, знаете ли, никуда не денешь. Приходится смотреть. У меня однажды, лет пять назад, прямо во время лекции встал. Я думал, инфаркт стукнет. Старый всё-таки уже. Возраст своё берёт. Но юбочку вашу я оценил, оценил, сударыня. Очень она вас стройнит. И попку так, знаете ли, чувственно преподносит.

Потом сзади произошла какая-то возня, пол содрогнулся от множества ног, обутых во что-то громкое и тяжёлое. «Курсанты!» – с ужасом догадалась Сонечка и снова крикнула в окно:

– Папа!!!

Крик, как и в прошлый раз, беспомощно обратился в стон. Но не слабый, а вполне устойчивый и сочный. Даже когда горло из-за отсутствия в лёгких воздуха сжалось, и рот вынужденно закрылся, стон продолжался откуда-то извне.

От него сумеречно-голубоватый свет рассеялся, а стены комнаты приобрели вид обоев номера отеля. И сама Сонечка очутилась в своём номере и на своей кровати.

Стон же исходил от Юлиной кровати. На ковре перед ней валялись кремовые штаны, тёмная рубашка и белые мужские трусы. Сама Юля неистово извивалась под волосатым турком и стонала.

«Ы! ы! ы!» – наваливался Хамит на неё всей своей крепостью, пока, наконец, не затих резко и неожиданно. «I come», – вяло просипел он, и его голова сползла вниз и исчезла между Юлиных согнутых в коленях ног.

«You must leave», – со сдавленным смехом ответила она. Он послушно встал, надел свои шмотки и ушёл. Ключ два раза скрипнул в дверном замке, и в комнате воцарилась тишина.

Было раннее утро. Юля блаженно захрапела. А Сонечка думала о своём новом сне – таком чудовищно и беспредельно странном, мерзком, непонятном – беззвучно плакала и беззвучно шептала одно и то же: «Господи, если ты есть, спаси меня!».

Сон 7. Маечка

Сонечка по возвращении на родину безотлагательно, в первое же воскресенье, сходила в церковь. И сны оставили её почти на месяц.

В первой половине августа ей пришлось отдать себя в жертву папе и особенно маме в качестве рабсилы на даче. Мама со своими «деревенскими корнями» очень любила дачу, временами заставляла любить её также и Сонечку.

Но Сонечка не любила. В деревне ей становилось скучно.

Впрочем, скучно становилось и папе тоже. Но папа как-то приучил себя – дружков деревенских завёл, рыбачить научился...

А Сонечка не хотела ни с кем там общаться. Не то что бы не хотела, а просто не чувствовала нужды в этом. Весь её социум был в том огромном бурлящем жизнью городе. Вся её жизнь заключалась в том городе. Она любила его. Она любила себя в нём. Она не могла ему изменять. И, будучи оторванной от него, чувствовала, что изменяет самой себе, потому что видела себя другой. Той, которую сама не знала.

Когда мама и папа уезжали на дачу, Сонечка всегда искала предлог, чтобы остаться в городе. Одной в квартире. С этим часто соединялись всевозможные соблазны.

Когда же всё-таки приходилось ехать под яростным напором мамы, Сонечка оставляла себе место для манёвра и через два-три дня по уважительной причине сваливала. А причин всегда хватало.

Но в этот раз всё обстояло совсем по-другому. Привычная схема не сработала, потому что Сонечка не появлялась на даче уже года три, ещё со школы, и оттягивание больше не пред-

ставлялось возможным. Долги накопились и их надо было платить. Мама могла обидеться. А маму обижать нельзя. И потом после церкви Сонечка хотела быть хорошей.

За все две недели она так ни разу и не надела купальник, хотя стояла невыносимая жара. Всё время ходила в привезённой из Турции ярко-красной обтягивающей маечке с красивой надписью «MY BODY FOR YOUR DREAMS».

Мама, оголив свою тучную фигуру по возможному максимуму, смотрела на Сонечку с явным непониманием, как на полоумную.

– А что? – отвечала ей Сонечка. – И просто. И удобно. И сексуально.

– У вас только одно сексуально на уме, – проворчала мама, поливая жёлтые георгины возле дома. – Обтянулась. Вон как титьки-то торчат...

– Это звоночки...

– «Звоночки». Дозвонишься. Позвонит кто-нибудь.

В середине августа позвонил Эдик и избавил от деревенских повинностей. Сказал, что переехал от родителей в общагу, и поэтому ему нужна женская помощь в приведении нового жилища в надлежащий вид. Мама отнеслась с пониманием и отпустила.

Сонечка села в электричку и поехала в город.

В электричке она задремала, и ей снова приснился тот неописуемо красивый, переливающийся разными цветами и ароматами луг. И она находилась на самом его краю. Там её ждал некто. Он стоял спиной и не хотел поворачиваться к ней.

– Прости, я... наверно... опоздала, – виновато проронила Сонечка. – Я знаю, что ты очень для меня знакомый и чрезвычайно мне нужный. Ты Бог?

– Да, – ответил он. – Сейчас я Бог.

– А потом?

– Потом я буду собой.

– А Бог?

– Бог всегда остаётся Богом.

– А ты? Ты бываешь им?

– Он бывает мной.

– Значит, ты не Бог?

– Нет, я не Бог.

– А кто ты?

– Я или некто, или никто. Не знаю.

– Для меня ты некто.

– Почему?

– Потому что ты для меня почему-то очень знакомый и чрезвычайно нужный. Ты никогда не будешь для меня никто. Почему ты не хочешь посмотреть на меня?

– Потому что увижу такой, какой тебя знают все.

– Какой?

– Прозрачной.

– Прозрачной? – удивилась Сонечка и взглянула на себя.

Маечка, привезённая из Турции, потеряла всю свою яркую красноту и сделалась бесцветной, а бесцветные буквы её красивой надписи «MY BODY FOR YOUR DREAMS» некрасиво налипли на бесцветно-обнажённой Сонечкиной груди. Причём «О» «BODY» бесстыдно висело на правом «звоночке», а «R» «DREAMS» ножками вульгарно восседало на левом.

И сама Сонечка вся была бесцветно-голая.

Она стыдливо прикрыла себя бесцветными крылышками и сказала:

– Я не знаю, почему так получилось.

– Потому что твоё тело служит чужим фантазиям.

– Почему? Я никому не позволяла...

– Люди видят твоё тело лучше, чем ты думаешь, и заглядывают так далеко, насколько позволяет им их воображение. И в воображении делают с твоим телом всё, чего желают физически.

– То есть не по-настоящему?

– Совокупление может не быть физическим, но оно всегда настоящее.

– И что же мне теперь делать?

– Контролировать их воображение.

– Как?

– Контролируя своё тело.

И некто ушёл.

Сонечка долго смотрела ему вслед, как будто хотела запомнить его спину. Она смотрела так, пока не проснулась.

А, проснувшись, помнила только фиолетовую рубашку с декоративными серебристыми молниями на рукавах. Но фиолетовость эта стойко запечатлелась в памяти.

Новый сон по духу предстал для Сонечки таким же странным, мерзким и непонятным, как и старые. Но теперь она с другими мыслями и чувствами подошла к мучившим её вопросам: к чему? зачем? за что?

На вокзале, в метро, в автобусе, на улице ей постоянно бросались в глаза однообразные повороты мужских голов в сторону её «звоночков», из-за чего её первым желанием по приезду домой было надеть под маечку лифчик.

Иначе она действительно чувствовала себя прозрачно-голой.

Сон 8. Шортики

Независимое от родителей Эдиково жилище Сонечке не понравилось. Длинный тёмный коридор с множеством дверей по обеим сторонам привёл в маленькую комнатку с окном почти во всю стену. От этого её малenькость становилась безвкусной и даже уродливой. Закопченные от времени обои отслоились и как бы сползали со стен.

– И ты будешь здесь жить? – недоверчиво спросила Сонечка Эдика. – Как это тебя угодило?

– Буду, – ответил он. – Это мамина комната. Она жила здесь до встречи с папой. Так вот и осталась с тех времён. А что? Для меня просто – я всё-таки военный в будущем. Для тебя удобно – два шага до вашего дома. А для нас – сексуально. Разве нет? Ты ещё сама захочешь здесь жить со мной. Ой, Сонь, какие на тебе шортики сногшибательные! Давай их с тебя снимем, а порядок в другой раз наведём?

– Шортики как шортики, – удовлетворённо моргнула она. – Джинсы старые отрезала и подшила. А что? Современно так... узенько и... сексуально. Специально для уборки. Так что другого раза не будет. Придётся сегодня убирать.

С десяти утра Сонечка часа два мыла окно, подоконник и полы, час протирала мебель и разбирала старые вещи, полчаса ждала, пока Эдик вынесет весь мусор и полчаса готовила ужин. К половине третьего они подкрепились и прилегли отдохнуть на старенькую кровать с железными спинками.

– Сонь, тебе правда не нравится эта комната? – спросил он, обнимая её.

– Правда.

– А почему?

– Потому что она напоминает мне мою душу.

– Как это твою душу?

– Ну, вот этот дом как бы наш город... – начала она неуверенно объяснять. – А город – это мир... И в этом мире живу я – маленькая комнатка с большим уродливым окном, через которое на меня все смотрят и видят эти мои закопчённые стены, эту мою грязь... всю, всю

меня насквозь... И я ничего не могу с собой поделаться... У меня есть только дверь. И всё. Только эта дверь может что-то изменить во мне...

– И как же?

– В неё должен войти некто... очень мне знакомый и чрезвычайно нужный... Он всё исправит... или уберёт грязь... или повесит шторы... а может, и то, и другое...

– И кто это? Бог?

– Да сначала это Бог...

– А потом?

– Потом тоже Бог и некто...

– И почему же никто к тебе не входит? Дверь закрыта?

– Нет, дверь как раз открыта и через неё в меня входит множество людей...

– И кто же?

– Все подряд.

– И я?

– И ты.

– А ты меня любишь, Сонь?

– Думаю, нет.

– Почему думаешь?

– Потому что моя любовь какая-то... современная, узенькая... и сексуальная...

– Как твои шортики?

– Да.

– Так мы их снимем сегодня с тебя или нет?

– Да, давай снимем.

Эдик расстегнул молнию и снял с неё сначала шортики, а потом трусики. Сонечка спросила:

– Как ты хочешь?

– Сзади.

Она развернулась и упёрлась рукой в железную спинку кровати. Он, скользнув горячей плотью по «тому» её месту, перенаправил своё движение в анал. Сразу стало больно.

– Зачем ты это сделал? – укорила его Сонечка.

– Из-за шортиков, – ответил он, медленно нажимая и входя в неё. – Я как тебя в них увидел, сразу об этом подумал.

– И как тебе это?

– Узенько... – прошептал он, начиная двигаться.

А она, постепенно привыкая к боли, смотрела в огромное окно на проходящих внизу людей, на проезжающие машины, на бесконечность таких же окон в бесконечных домах, на весь мир.

– Сонь!.. – услышала Сонечка Эдиков голос и проснулась. – Ты меня любишь?

Она, приходя в себя, замешкалась и промолчала.

– Я спрашиваю тебя: тебе правда не нравится эта комната? Молчишь. Спрашиваю: ты меня любишь? Молчишь. Заснула, что ли?

– Да я так...

– Ты любишь меня, Сонь?

– Думаю, да.

– Почему думаешь?

– Потому что моя любовь какая-то... современная, узенькая... и сексуальная...

– Как твои шортики?

– Да.

– Так мы их снимем сегодня с тебя или нет?

– Да, давай снимем.

Эдик расстегнул молнию и снял с неё сначала шортики, а потом трусики. Сонечка спросила:

– Как ты хочешь?

– Сзади.

Она развернулась, упёрлась рукой в железную спинку кровати и, пока он двигался своей горячей плотью в «том» месте, смотрела в огромное окно на проходящих внизу людей, на проезжающие машины, на бесконечность таких же окон в бесконечных домах, на весь мир.

Потом они снова легли, и Эдик снова обнял её.

– Скажи, ты ведь хотел анальный секс, да? – спросила Сонечка.

Он помялся и буркнул:

– Да. Как ты догадалась?

– Из-за шортиков?

– И из-за шортиков тоже. Как ты догадалась?

Она не ответила. В ней впервые ощущались странность, мерзкость и непонятность не от сна, а от самой себя. К чему так странно она выглядит – маленькой комнаткой с уродливым большим окном? Зачем с такой мерзкой легкодоступностью открыла себя всем, захлामीла себя грязью? За что непонятным образом непонятные, незнакомые и ненужные люди овладели её дверью?

– А что? Может, давай попробуем? А, Сонь? – оживился Эдик.

Сонечка с каменным лицом встала с кровати, высвободившись из его объятий, надела трусики, шортики и ушла.

Сон 9. Джинсы

Она шла по городу в облегающих светло-синих джинсах с заниженной талией и в зеркальных витринах магазинов любовалась сама собой. Это удавалось делать настолько смотрительно и самоцельно, что ею любовались и другие.

А что? Сексуально с фронта. Сексуально в профиль. Сексуально с тыла. Никто не оставался равнодушным – ни прохожие, ни проезжие, ни стоячие, ни сидячие, ни даже лежащие. Бродячие псы и те то и дело задирали морды.

Осеннее небо с рыхлыми дымчатыми облаками грустило. Солнце жёлтым радующимся светом пробивалось сквозь маленькие голубые пробоины слабо и коротко. Всё обняла серость, грязность и лужность. Впрочем, желтизна нашла себя и здесь. Деревья вдоль тротуара с трогательным шелестением сбрасывали высохшие листочки и топили желтизну в серости, грязности и лужности. Слабость же и короткость небесной голубизны с очаровательным своеобразием компенсировали Сонечкины глаза и, конечно, облегающие светло-синие джинсы.

– Это что, Соня? – пискляво пролаял один из псов, вдруг схватив лапой за заниженный пояс джинсов, и его когти поцарапали копчик и самое начало разделительной ягодичной полосы. – У тебя же жопа наружу вылезла? Почему ты себя не контролируешь?

– Они сползают, – огрызнулась Сонечка.

– А ты и не против, да? – громко загоготал другой пёс, лизнув свой «орган».

– Против, – решительно воспротивилась она.

– Тогда поправь, – громогласно прогавкал третий пёс. – И всегда поправляй. Иначе ты нас никогда не отпустишь. У тебя если не жопа, то трусы всегда торчат.

– Трусы пусть торчат, – вмешался проходивший мимо симпатичный молодой человек. – Я ещё тогда, когда вы на меня первый раз посмотрели своим выразительным взором, понял, что вам к лицу будет некая интимная небрежность. А когда второй раз посмотрели, то твёрдо решил – из-под джинсов небрежность должна немножко выглядывать.

– Поправь! – крикнул из проезжавшего на той стороне улицы трамвая военный с рыжими усами, погрозив дипломатом. – Что за баба, которая свои трусы всем подряд мужикам показывает?! Она и пи**ду будет всем подряд показывать! Поправь!

Сонечка поправила и пошла дальше. Настроение у неё ухудшилось. Псы остались далеко позади, в зеркальных витринах по-прежнему сквозили смотрительность и самоцельность, но что-то ушло. И от того настроение ухудшилось.

Из нижнего окна ближайшего дома показалась голова Иосифа Вениаминовича.

– А вы, сударыня, и в джинсах попку чувственно преподносите! – восторженно сказал он. – Прямо взгляд не оторвать!..

Сонечка назло ему стала двигаться, убирая из «попки» «чувственность». И снова что-то ушло, забрав с собою часть хорошего настроения.

На одной из лавочек под жёлтыми деревьями сидел грузный лысый мужик в клетчатой рубашке. Его густо-красное полное лицо было обильно покрыто испаринами, а маленькие бледные глазки сквозь липкую поволоку выражали всяческую охотливость.

– Девушка, я вот часто сижу перед вами... – задыхающимся, доверительным тоном сообщил он. – А вы вот так стоите передо мной... и я наблюдаю за вами... то есть не за вами... а за вами «там», внизу... Да-да, я умею... я уже приловчился... я уже через джинсы вижу вас... какая вы «там»... особенно в облегающих... всё как на ладони... Мне иногда хочется протянуть ладонь... и поласкать вас прямо через джинсы... А мне этого достаточно... я и так всё прекрасно вижу и чувствую... каждую вашу складочку... каждую впадинку...

– Это что, милая? – вылезла из-под лавочки большая мягкая женщина в обтягивающих светло-синих джинсах, и её большие мягкие «формы», уродливо обтянутые, повергли грузного лысого мужика в молчание. – Вот такая ты будешь лет через двадцать. Так что носи, носи, пока можно. Демонстрируй складочки и впадинки, пока есть что демонстрировать.

– Или такая будешь, – большая мягкая женщина в один миг обернулась высокой угловатой дамой в старомодной панаме. – Всё равно никому твои складочки и впадинки не нужны будут. В любой форме.

Она рванула на себе те самые джинсы и обнажилась перед грузным лысым мужиком, отчаянно демонстрируя ему «складочки и впадинки». Мужик в ужасе вскочил и убежал.

Откуда-то слева послышалась знакомая возня, асфальт содрогнулся от множества ног, обутых во что-то громкое и тяжёлое.

Сонечка от греха подальше не стала дожидаться курсантов и, покинув обескураженную даму, ускорила шаг. Хорошее настроение окончательно оставило её, а «что-то» не окончательно. Оно ещё оставалось где-то. Кажется, в зеркальных витринах магазинов.

– Куда бежишь, дорогая? – догнала Сонечку Юля. – От себя, что ли?

– Почему от себя?

– А от кого?

Сонечка почувствовала настойчивое прикосновение к себе сначала в районе правого заднего кармашка джинсов, а затем и левого.

– My hand on your right buttock, – вежливым голосом сказал Казим.

– My hand... on your left... buttock, – волнительно запинаясь, вторил ему Хамит.

– Хотя бы от вас, – ответила Сонечка, высвобождая себя из настойчивых турецких рук – сначала левую «себя», а потом и правую.

– Мы – это и есть ты, – заявила Юля. – Ты кому так стараешься свои «buttocks» представить? Ну честно! Для кого стараешься? Кому хочешь понравиться? Уж не Хамиту ли? Если ты понравилась Хамиту, то и Казиму понравишься. Если понравишься Казиму, ты любому понравишься. Ты идёшь по городу, жопой виляешь, а за тобой плетутся все мужики, которым ты понравилась. Неужели ты хочешь всем нравиться? Неужели ты хочешь, чтобы все соблазнялись на твою жопу? Или только некоторые? Но как же ты собираешься сортировать своих мужи-

ков – жопой-то? Напрасно ты думаешь, что жопа сортирует. Жопа только собирает и собирает. А сортирует голова. И глаза. Твои, когда выбирают, что надеть. И мужиковские. По сути, они-то только и сортируют – одну жопу от другой. Твоя уже давно отсортирована. Кому ты хочешь понравиться со своей всем известной отсортированной жопой? Твои топики, каблучки, юбочки, шортики, маечки, халатики, купальнички, платья, джинсы – для кого они?

– Для себя, – поспешно заявила Сонечка.

– Я же говорю: мы – это и есть ты, – флегматично улыбнулась Юля. – От себя не убежишь. А потому и от нас себя не скроешь.

– Your body for our dreams, – в один голос возгласили турки.

– Не для себя, – поправилась Сонечка. – Для него, это некто для меня очень знакомый и чрезвычайно нужный. И ни для кого больше.

– Ты дура, – усмехнулась Юля. – Одеваешься для одного, а смотрят все. И потом ему не нужны ни топики, ни каблучки, ни юбочки, ни шортики, ни маечки, ни халатики, ни купальнички, ни платья, ни джинсы.

– Они нужны нам! – прогремел сзади множественный хор нестройных мужских голосов, заставивший Сонечку испуганно повернуть голову.

Все мужчины, которые встречались по пути, действительно всё это время плелись за ней. Они все как один, точно под гипнозом, глядели на её «buttocks».

– Они мне нужны, – услышала она голос Эдика. – Я не смыслю тебя без топиков, каблучков, юбочек, шортиков, маечек, халатиков, купальничков, платьев, джинсов. Из-за них я всегда хочу тебя. Это же всё так сексуально.

Сонечка вдруг поняла, чем было это уходящее «что-то», забирающее хорошее настроение. Когда Эдик сказал «сексуально», оно сладкой волной пробежало по телу (аж мурашки пошли по коже!), завертелось, затвердело бесстыдно в сосках, посмотрело в зеркальную витрину магазина и даже крохотной восторженностью капнуло в трусики.

– Тебе же тоже нравится сексуальность, – сказал Эдик. – Это же твоё кредо. Уверен, ты даже в трусики капнула, услышав «сексуально». Не меняй ничего, Соня, не надо. Ты создана для сексуальности. Ты создана для секса. Подумай, чего ты себя лишаешь. Соня, вспомни, как всё было раньше, а?

– Я не лишаюсь, я приобретаю. И ничего я не капнула... – обиженно проговорила Сонечка и посмотрела Эдику в глаза.

От этого ей стало очень не по себе, очень стыдно. Она, стора от стыда, бросилась бежать. И добежала до своего дома.

Там, возле подъезда её ждал некто. И тогда Сонечка проснулась.

– Это что, Соня? – над кроватью стояла мама и размахивала пыльным ярко-оранжевым топиком. – Ты что это хорошие вещи под кровать кидаешь?

Внятного ответа, тем более спросонья, не нашлось.

– А это? – и мама подняла другую руку, и в ней обречённо покачнулись очаровательные босоножки с шатающимся левым каблучком. – Один раз только надела, зато целая трагедия в магазине была!.. А платье летнее по швам расплзлось почему? А юбка синяя зачем валяется? А халат свой чего же перестала надевать? А маечку турецкую?..

– Мам, – перебила Сонечка, – мне эти вещи больше не нужны. Я их носить не буду.

– Ага! Значит, эти не будешь?! Значит, теперь отец другие покупай, да?! Попрыгала, полетала, как бабочка, крылышками помахала и бросила. Думаешь, отец бездонный? Это вот жизнь, Соня, бездонная, всегда будет мало. Думаешь, отец не обеднеет? Нет, Соня... – и мама вдруг заплакала. – Он вон какой грустный и осунувшийся ходит... А ты ещё Эдика своего бросила... Чем он тебе не угодил?.. Нет уж, дочка, не прыгай, не летай с места на место, сиди, на чём села... А то улетишь в бездонность-то эту...

– Мамочка, я не хочу больше лететь в бездонность. Я не хочу больше прыгать с места на место. Теперь всё будет по-другому. И эти вещи я больше носить не буду. Я по-другому буду одеваться.

– Это как же?

– Ну, как-то более скромно...

– Как монашка, что ли, будешь?

– Нет. Но чтобы не сексуально было... Ты же сама говорила, что одно «сексуально» на уме...

– «Сама», «говорила». Надевай всё, пока можно. Потом не наденешь. Демонстрируй сиськи-письки свои... пока есть что демонстрировать. А то вот будешь лет через двадцать, как я...

Сонечка даже вздрогнула от её слов.

– Фи, мама, я не буду больше... всем подряд демонстрировать. Потому что я поняла смысл слова «сексуально». Всё направлено только на одно. Как будто это «одно» и есть самое главное в жизни. Кто так переврал «это»? Я вовсе не монашка, мам, но «это» – не главное.

– Не главное, – слегка удивлённо согласилась мама.

– Ну а почему тогда всё, везде и всегда только об «этом»?

Мама, неуверенно потоптавшись, ушла, и Сонечка полезла в гардероб. Надевала какую-нибудь шмотку (облегающие светло-синие джинсы сразу отстранила), смотрела на себя в зеркало – фронт, в профиль, с тыла – и со вздохом снимала. Всё было сексуально. Настроение ухудшилось, как будто оно прямо зависело от сексуальности. Как будто не будет сексуальности, не будет и хорошего настроения – всё плохо и безрадостно всегда будет.

«А вдруг шмотки не при чём? – подумала она. – Вдруг сексуальность во мне самой? Как я тогда смогу всё исправить? – и сама же ответила себе словами некто: – Так. Контролируя своё тело».

И Сонечка стала контролировать себя. Своё тело. Свою сексуальность. День ото дня она переучивалась во всём – в жестах, во взглядах, в походке, в позах, в словах, потому что везде пряталась та самая сексуальность. Сонечка скрывала своё тело в свободных одеждах, даже порой нарочно уродовала себя, но, казалось, становилась ещё сексуальней. Сексуальность не только не убавилась, но к ней поверх ещё и пришло «что-то», очень сильное и какое-то необъяснимое. Мужчины охотно задерживали взгляд, но теперь он не скользил, как прежде, а проникал куда-то внутрь.

Лишь спустя много времени Сонечка вдруг осознала, что «что-то» поверх сексуальности – это обыкновенная, такая ненавязчивая и естественная женская красота. Это было так поразительно, что не нашлось ни малейших сил не расплакаться на радостях.

Но перед тем одним пасмурным осенним днём, в конце сентября, когда небо с рыхлыми дымчатыми облаками грустило, давая солнцу жёлтым радующимся светом пробиваться сквозь маленькие голубые пробоины только очень слабо и коротко, а всё вокруг обняла серость, грязность и лужность, Сонечка познакомилась с молодым человеком.

Удивительно, у него оказалась дача в той же деревне, что и у Сонечкиных родителей. На этой даче, в этой деревне Сонечка все осенние выходные изменяла своему любимому, огромному, бурлящему жизнью городу. И, будучи оторванной от него, она не чувствовала себя несчастной. Потому что её жизнь не заключалась теперь исключительно в нём. Её жизнь теперь располагалась вне города, вне всех городов, вне мира. Окно в её маленькой комнатке закрылось шторами, а ключ от двери находился в надёжных руках. Сонечка узнала себя другой. Теперь она была счастлива.

– Кто ты? – прошептали её губы, уткнувшись в тёплую мягкость знакомой фиолетовой рубашки с декоративными серебристыми молниями на рукавах.

– Я или некто, или никто, – ответил он. – Не знаю.

- Для меня ты некто.
- Почему?
- Потому что ты никогда не будешь для меня никто.

Буддийская зима

Золотистая пастель

Современная живопись мне не интересна. Я это не понимаю, да и понимать, если честно, особенного желания не имею. Так вышло просто. В компанию художников пригласил один знакомый – ну и завертелось. Мастерские, тусовки, выставки. Посиделки всякие. Художники – народ своеобразный, и жизнь у них своеобразная. Меня именно их жизнь и соблазнила чем-то.

И потом – напрасно некоторые считают, что можно вообще что-то выбрать в этом мире по большому счёту. Всё происходит само собой. Жизнь сама собой, на волнах возможностей и обстоятельств, чуть ли не рандомно, обозначает границы твоего социума, где тоже достаточно случайно встречаются люди, которые по разным, порой очень незначительным причинам становятся тебе несколько ближе огромной массы остальных. И вот – иногда ты живёшь их жизнью, иногда они твоей. Всё ради единственной цели – скрасить тьму одиночества человеческого бытия.

Волею того же случая мы попали на выставку некоего художника Светова. Мы – это Серж, я и Валентин Валентинович. Собирался прийти ещё Бурчук, но не пришёл. Дело в том, что нас по благу заблаговременно провели бесплатно, а Бурчук опоздал. С него, естественно, требовали билет. Он ступсевался, раскраснелся, затем ужасно разобиделся и отправился заливать обиду в летнее кафе в городском саду через дорогу.

Туда мы и завалились где-то через час, в самое пекло, когда солнце, чуть скатившись с зенита, жарило удушливо и безветренно, а Бурчук, выпив литр тёмного бархатного и размлев, спрятался в полоске жиденького тенька.

– Так, тёмное бархатное, значит? – насмешливо осведомился Серж.

– Не трожь, – Бурчук поспешно пододвинул кружку к себе поближе и спросил: – Ну, и как там ваш Светов?

Валентин Валентинович с театральной выразительностью, громко, утробно, смачно так, извлёк из себя на свет Божий очень красноречивое и очень нехорошее слово.

– Это если в целом, – пояснил он. – Хотя вот его «Пламенный ангел» мне понравился. Сильно. Тут уж не поспоришь.

– Да ну! – Серж махнул рукой, на излёте ловко зацепив кружку Бурчука и отхлебнув из неё пару внушительных глотков. – Это даже современным искусством назвать нельзя. Так, неореализм какой-то. А кто-то, помнится, успорял нам, что понимает, что такое постмодернизм. Ну не бывает в постмодернизме золотисто-пастельных тонов, не бывает. На, держи, своё тёмное бархатное. Мы светлое нефильтованное будем.

– Ничего я не успорял, – пробурчал Бурчук. – Я читал интервью Светова, он сам сказал, что он постмодернист.

Серж снова махнул рукой, на этот раз подчёркнуто молчаливо, и сходил за пивом.

– Смотри, как свет играет, – сказал он, поставив передо мной кружку светлого нефильтованного. – Смотри, а вот тут точь-в-точь, как у Светова. Золотистая пастель.

Оранжевые переливы

Тогда мы никак не предполагали, что пройдёт всего какой-то один год, и некий художник Светов станет настолько популярным, что его даже покажут несколько раз по телеканалу «Культура».

Валентин Валентинович совершенно переменял свою первоначальную оценку, превратившись из критика-зубоскала в страстного поклонника.

– У него уникальный цвет! – восхищался он. – Эти его оранжевые переливы – мощь необыкновенная. Посмотрите, никто так не пишет религиозную тему. У всех, если рели-

гия, аскетика, монах, отшельник, то обязательно тёмные тона, тяжесть, хмурь какая-то, тоска страшная, а у него оранжевые переливы – свет, сила, жить охота!..

– Хотя сам аскет тот ещё, – со знанием дела вставил Бурчук. – Я читал его интервью. Живёт, как монах. Никаких излишеств, только искусство.

Серж часто с ними спорил, но не из-за того, что ему не нравился Светов, а потому что терпеть не мог бездумное восторженное обожательство.

– Оранжевые переливы – это всего лишь игра теней. Пусть и интересная, но по сути самая элементарная. Уж ты-то, Валентиныч, должен это знать, почти сорок лет в искусстве.

– Никто из современных художников не умеет писать Иисуса Христа! – горячился Валентин Валентинович, проговаривая каждое слово с театральной выразительностью, громко, утробно, смачно так: – А он умеет!

– «Христос на Фаворе» и «Христос перед Великим Инквизитором», – подтвердил Бурчук.

– Ну при чём тут Иисус Христос? – Серж махнул на них рукой и подмигнул мне заговорщицки: – А тебе нравятся оранжевые переливы?

Мне было глубоко плевать на любые переливы – будь они оранжевые или серо-бурмалиновые, будь они мощь необыкновенная или элементарная игра теней. Меня больше волновали мои собственные «оранжевые переливы» – деятельная, увлекательная страсть разрушения условностей на пути «нети-нети».

Разрушение условностей быстро и неистово превратилось в саморазрушение. Так что сметающий условности дзен и сам стал всего лишь условностью. И Серж хорошо это знал.

– Может, поехали ко мне? – предложил он и опять заговорщицки подмигнул.

Кроваво-рыжий

Тем же летом нашу устоявшуюся компанию разбавила свежая кровь. Валентин Валентинович привёл к нам очередного «начинающего и талантливого» художника Ваню Рудакова, ярого фаната творчества Светова. Познакомились, потусили – ну, он и прилип как-то незаметно.

Мы прозвали его Рудиком. «Рудик» отчего-то очень шло его рыжей шевелюре и наивно-капризному, детскому выражению лица.

Однажды между Валентином Валентиновичем и Сержем произошла серьёзная ссора по поводу новой работы Светова, нашумевшего диптиха «Весна Инь. Весна Янь». Серж высмеивал появившиеся у мэтра восточные мотивы.

– Вот не понимаю я этой поголовной моды на восток! – размахивая руками, бушевал он. – Все буддистами сделались! Все что-то там ищут, какие-то «истины»! Всё это хрень – восток, запад – какая разница? Внутри пустота, вот и ищут, чем бы её заполнить. До смешного дошло – если человек не буддист, а, например, традиционный, так сказать, православный, на него вся эта элита грёбаная как на дурака смотрит. А по мне так они сами дураки, дегенераты и предатели!

– Светов – художник традиционной школы, вот это любому дураку понятно! – настаивал Валентин Валентинович, тоже на повышенных тонах. – Откуда ты взял, что он буддист? А я знаю откуда! Из зависти! Ты завидуешь, потому что сам бездарен и глуп, и попросту не в состоянии написать хоть что-то мало-мальски значительное!

– Чему завидовать?! – побагровел от злости Серж. – Вот этой кроваво-рыжей безвкусице? Да ты глянь, Валентиныч, внимательно! Ну?! Кроваво-рыжий же, ну признай!

И тут вдруг влез Рудик.

– А чем же, Серёг, по-твоему, кроваво-рыжий-то плох? – съязвил он. – Или что: одни цвета годятся для живописи, а другие – нет? Это всё твои условности, твои иллюзии, твои комплексы.

Серж отмахнулся от него, процедив сквозь зубы:

– Тебе этого не понять, Рудик. Ты даже табуретку нарисовать не можешь как следует.

На беду Рудик сидел на табуретке. Он встал и попытался ударить ею Сержа. Тот выхватил табуретку и обрушил её что есть силы Рудiku на голову. Брызнула кровь. Вязкая и страшная в рыжих волосах.

Валентин Валентинович вызвал скорую и увёз Рудика в больницу. А мы потом сидели молча, не решаясь заговорить друг с другом. Только Бурчук обронил зачем-то никому уже ненужное:

– Я читал интервью Светова. Он сказал, что разочаровался в православии, объявил себя буддистом.

Тогда мне стали понятны четыре дурацкие истины моего страдания. Первая: меня нет. Вторая: Сержа нет. Третья: нас нет. Четвёртая: ничего нет.

Серж поцеловал меня, и его губы противно измазали меня вкусом крови.

Кирпичная бескомпромиссность

Прежние отношения уже не вернулись. Да, мы иногда встречались. Но урывками, натянуто, скучно, неестественно. А все вместе, впятером, только один раз – на похоронах. Когда умер Валентин Валентинович. Говорят, перед смертью он ушёл в запой и жутко, распоследними погаными словами ругал Светова.

– Неудивительно, – сказал Серж. – Это он, наверное, световскую «Нирвану» увидел. Суровый кирпичный Будда. Холодный, мрачный, бездушный. А Валентиныч – простой русский мужик, ему ненавистна бездушность. Хотя Бог его знает. Я уже ничего не понимаю. Такое ощущение, что вокруг меня стена, и я бьюсь в неё головой упрямо, бескомпромиссно. Может, и вправду это всё мои условности, мои иллюзии, мои комплексы? А на самом деле ничего нет...

– Светов очень изменился, – мрачно заметил Бурчук. – Я читал про него недавно. Раньше он был другой. Горячий, искренний, честный. Аскет, никаких излишеств, только искусство. А теперь открыл что-то вроде публичного дома в своей мастерской. Теневой бизнес – не то натурщицы, не то проститутки. Малюет голых баб, больше ничего. Исписался.

– У любого художника бывает кризис, – фальшиво, бесцветно отрезал Рудик и прошептал мне на ухо: – Поехали ко мне.

О, мой скорбный путь «нети-нети». О, ломающий условности дзен... Отчего мне так больно? Все условные стены разрушены. Никакой бескомпромиссности. На, бери меня. Делай, что хочешь с моим проклятым «я». Меня нет.

Коричнево-чёрный дьявол

Напрасно некоторые считают, что можно что-то выбрать в этом мире. Всё происходит само собой. Жизнь сама собой, на волнах возможностей и обстоятельств, чуть ли не рандомно, обозначает границы твоего социума, где тоже достаточно случайно встречаются люди, которые по разным, порой очень незначительным, причинам становятся тебе несколько ближе огромной массы остальных. И вот – иногда ты живёшь их жизнью, иногда они твоя. Всё ради единственной цели – скрасить тьму одиночества человеческого бытия.

– Даша, что с тобой стало? Что у тебя стряслось? – взволновано спросил Бурчук.

– Ничего особенного, – равнодушно ответила я. – Просто наступила буддийская зима. Знаешь, что такое буддийская зима?

– Что?

– Это когда на всё насрать.

– Ну почему тебе насрать? – Бурчук разволновался ещё сильнее. – Давай, вставай, Дашка, Дашенька, милая...

– Всё имеет свои весну, лето, осень и зиму. Весной весело и охота жить. Летом тепло и удобно, чтобы наслаждаться жизнью. Осенью скучно жить. Зимой холодно, выюжат метели,

неистовствуют бураны. И если тебе на всё насрать, то скорее всего ты замёрзнешь. Я замерзаю от собственного холода, Бурчук. В моей душе буддийская зима, Бурчук... Бурчук, а почему я голая? Кто меня раздел?

– Я не знаю, Даша. Где ты была?

– Я была у Рудика. Мы пили водку. Знаешь, кстати, что у Светова нового? Нет? Дьявол. Коричнево-чёрный дьявол, сидящий на голых бабах. Игра теней, переливы, все дела. Бурчук, отвези меня куда-нибудь отсюда. Отвези, пожалуйста.

Он вызвал такси, закутал меня в свою куртку и увёз к себе домой. Утром я проснулась и спросила его:

– Что со мной произошло вчера?

Бурчук смотрел на меня тепло, ласково и молчал.

Жалюзи, или Доспехи ревности

Темнело. Тёплый и сырой апрельский ветер горько пах дымом мусорных костров. Из-за угрюмых пятиэтажек, грузно вписываясь в поворот, выполз старый красный автобус. Он ярко брызнул фарами и, тяжело скрипнув, замер.

– Производится посадка на автобус «Любоморы – Кисканшлык», – резким писклявым сопрано пролетело по платформе маленького загаженного автовокзала. – Автобус проследует по маршруту Любоморы – Кисканшлык с остановками Зилявка, Павидасово, Ревнощи. Время отправления 20 часов 20 минут.

Дверь автобуса открылась, и в его тёмное нутро организованно и бойко повалила толпа людей, человек сорок – в основном, студенты и прочая разнополая молодёжь. Среди них особенно пробирались одинокие мужики рабочего вида, редкие пенсионеры и мамы с детьми.

Первой к автобусу промчалась эффектная девушка-блондинка, утончённая, дерзкая, вся в модных штучках. От неё модно пахло возбуждающе-сладким «Jealousy». На нетерпеливо приподнятой вверх тонкой ручке изящно блестели модные часики «Invidia Premium Gold» и женственно болталась модная сумочка от «La Gelosia» из белой кожи. Секси. Не удивительно, что толпа расступилась.

Последней, пропустив всех вперёд, понуро, глаза в пол, вошла другая девушка – тёмная, нелюдимая – с унылым чёрным пакетом, на котором выцветшими буквами было написано, кажется, по-немецки «Der Rüstung der Eifersucht».

Толстая тётка, работник автовокзала, проверявшая билеты, сурово и неодобрительно провела по ней с головы до ног цепким, оценивающим взглядом и, пропуская, крикнула шофёру:

– Всё, ехай!

Дверь закрылась, автобус снова тяжело скрипнул и тронулся, медленно и даже трудно набирая скорость. Наконец он раскочегарился и покатил по улице меж угрюмых пятиэтажек мощно и rispetабельно.

В салоне было шумно. Провинциальный сервис – просмотр DVD-фильма. Показывали «Кавказскую пленницу». Народ, особенно студенты, часто взрывались заразительным хохотом.

Эффектная девушка скучала. Покосившись на ту, нелюдимую, которая по воле случая села на соседнее место, она отвернулась к окну и брезгливо рассматривала потрёпанные и грязные занавески, мечтая об очаровательных модных жалюзи фирмы «Celos» из африканского дерева. Последнюю пару дней это просто идея-фикс. Жалюзи в спальню. И именно эти. Очаровательные. Модные. Фирмы «Celos». Из африканского дерева.

Нелюдимая застыла в какой-то неловкой, сгорбленной, затравленной позе. Хотя ей не привыкать к косым взглядам. Косые взгляды, отверженность, отчуждение людей – это то, к чему жизнь давно приучила, смирила, заставила принять как должное, неизбежное и правильное до такой степени, что каждый косой взгляд придавал больше энергии и радостного воодушевления.

Но не теперь. Теперь бессильно деревенело тело, и скользко холодели руки. Не по-женски, а по-детски маленькие ручки с обгрызанными ногтями. Не по-детски, а по-женски страстное сердце изгрызло эти ногти. Страсть, многократно подавленная и глубоко спрятанная в нелюдимости и тёмных одеждах. Страсть обессиленная. И теперь в одеревенелости тела, в холодной скользкости рук застыло безжизненное, омертвевшее, немое «как?».

«Как это будет?» – спрашивала себя эффектная девушка и представляла жалюзи фирмы «Celos» из африканского дерева в своей спальне. Представляла, как скажут с нескрываемой завистью «вау!» её подруги: «Вау! Какая прелесть!». Представляла, как она с хорошо обозначенным превосходством ответит им, что это, между прочим, африканское дерево. И что

это, между прочим, «Celos»: «Знаете, сколько это стоит?». И как потом, когда они, снедаемые завистью, уйдут, она сомкнёт ламели наглухо, отгородившись от света, от всего на свете, и ляжет в постель, наслаждаясь приятным, уютным полумраком какой-то особой защищённости. На ночь же наоборот чуть приоткроет, чтобы утром робкий свет пробивался внутрь, доставляя неописуемую радость ласкового пробуждения. «И да, – улыбнулась эффектная девушка, – ночью придёт он, и мы займёмся любовью, а луна будет струиться сквозь щёлочки жалюзи, оставляя на нашей постели и на нас, обнажённых и страстных, нежные медно-золотистые полосы».

«Как это будет?» – иступлённо сжимала кулачки нелюдимая, всеми силами стараясь преодолеть одеревенелость тела. Братья из Африки сказали, что это как перейти вброд холодную реку. Самое трудное – войти в неё. Войти и идти. Постепенно холод начнёт отступать. И там, где он отступит, воцарится тепло. Холод, как страх. Его побеждает действие. Нельзя останавливаться. На том берегу нет ни холода, ни страха. Чем ближе будешь к нему приближаться, тем сильнее почувствуешь тепло и бесстрашие. Самое главное – войти и идти. Дальше только время, отделяющее один берег от другого. И ничего больше.

Эффектная девушка посмотрела на часы. Изящные модные часики «Invidia Premium Gold» показывали ровно девять. Расстроилась, что ехать ещё очень долго. Расстроившись, обеспокоенно полезла в модную сумочку от «La Gelosia» из белой кожи. Порылась там. Нашла айфон, написала эсмэску. Ему. «Еду. Ты меня встретишь?». Он не отвечал минуты две-три, которые сразу превратились в вечность. Обиделась. Когда он ответил «да», обиделась ещё пуще за то, что столько пришлось ждать это ничтожно-короткое «да»: «Ты где? Почему так долго не отвечаешь?». На сей раз ответ не замедлил: «В смысле долго? Дома, ужинаю». Она: «Я думала, мы вместе поужинаем». Язвительно. И добавила: «Приятного аппетита». Ядовито. Он – опять через две-три минуты: «Спасибо». То ли издеваясь, то ли не понимая. То ли козёл, то ли дурак. Так и не определившись с этим, запихала айфон обратно в сумочку и повернулась к окну.

Проезжали большой мост через Жарливость. Река, тускло озаряемая фонарями, бездонно переливалась холодной пугающей чернотой. До мурашек. Бррр. Эффектная девушка почувствовала себя отчего-то очень несчастной и одинокой. И беззащитной. Маленькой девочкой, заблудившейся в огромном незнакомом городе. Определилась: «Всё-таки козёл. И дурак. Козёл и дурак. Бесчувственное животное».

Вдруг лицо нелюдимой ожило. Оказалось, лицо вполне симпатичное, даже красивое, но с красотой непривычной, чужеземной, хищной. Она выпрямилась, уверенно подняв глаза на людей – глаза большие, южные, сияющие жгучей, дикой смолью. Глаза, пылающие неподкупным праведным гневом.

«Бесчувственные животные!» – с жарким беззвучием выдохнула девушка.

«Жалость?» – усмехнулась она. Братья из Африки сказали, что жалость дана человеку лишь для того, чтобы осознать жалкость мира. Жалкость падшей женщины, упивающейся похотью, бесстыдной, в бесстыдстве непокорной, гордой, лживой, возлюбившей своё бесстыдство, как свинья грязь. И что же, пожалеть свинью, когда её мясо требуется для великого торжествующего ужина чистоты и правды? Из-за жалости к свинье не оказать чистоте и правде почтения?

Так сказали братья из Африки после того, как... испачкали в грязи. «Ты потом поймёшь, почему мы это сделали, – объяснили они. – Там, на том берегу. Иначе у тебя будет соблазн не входить в холодную реку и не переходить её вброд. Устрашиться перед холодом, пожалеть себя. Поэтому мы раздели тебя и насладились тобой на этом берегу с похотью и грязью этого мира. Чтобы ты возненавидела его похоть и грязь вместе со своими похотью и грязью. Чтобы ты не жалела ни этот мир, ни себя. Вошла в холодную реку и перешла её с радостью, смывающей

с тебя грязь. На том берегу всё это будет не важно. Ты ещё вспомнишь нас добрым словом на том берегу, наслаждаясь райской чистотой и правдой».

Народ в автобусе поприших. «Кавказская пленница», похоже, несколько утомила. Заразительный хохот студентов сменился короткими натянутыми смешками. Люди постарше задремали. Где-то далеко в начале салона капризничал ребёнок, его мамаша совала ему попеременно то игрушки, то сладости, то бутылочку, то соску, но всё тщетно. Где-то рядом раздражающе громко храпел один из мужиков рабочего вида.

Эффектная девушка оторвалась от окна и от нечего делать пыталась прочесть надпись на унылом чёрном пакете своей соседки. Прочесть не смогла. Что-то по-немецки. Неблагозвучное. Похожее на войну. Что-то грубое и страшное. Как и сама эта соседка – тёмная и нелюдимая. Чужая. Чуждая. От чуждости которой явственно веяло холодом и непонятным... превосходством. Внутренней силой. Кто она? Кто она, эта девушка в уродливом, агрессивном, воинственном хиджабе?

«Я буду в раю! – твердила себе нелюдимая. – Я воин Аллаха! Я буду в раю!».

Братья из Африки помогли собрать кавказским шахидам оружие возмездия – смертоносные пояса. Они назвали их по-немецки «Der Rüstung der Eifersucht», что значит «Доспехи ревности». Ревность – качество праведных людей. Так сказали верные Аллаху братья из Африки. И добавили инструкцию: «Один пояс наденешь под хиджаб, другой спрячешь в пакет. Сигнал с твоего телефона приведёт в действие оба, ревности для Аллаха много не бывает».

Девушка вынула телефон. Сжала его в холодной скользкой ручке. Не по-женски, а по-детски маленькой ручке с обгрызанными ногтями. Не по-детски, а по-женски острые зубы изгрызли эти ногти. «Аллах акбар», – прошептала она отчётливо, – так что эффектная девушка на соседнем месте повернулась в её сторону с широкими от ужаса глазами, – и твёрдо нажала на кнопку вызова.

Осколки, или Сделай мне больно

Октябрь 2004 года

Далеко за полночь мы курили в тесном обжоговском туалете на первом этаже, чтобы не пускать дым в коридор. Курить в общежитии не разрешалось. Согласно правилам противопожарной безопасности. Это такая игра. Курящие делали вид, что не курят. Администрация делала вид, будто не знает, что все курят. Коридоры были в безопасности.

Максим казался мне чрезвычайно возбуждённым. Его худое юношеское лицо то озарялось необъяснимой радостью, то поворачивалось во мрак мучительного беспокойства. Он часто и порывисто стряхивал пепел в унитаз и беспомощно шурился от едкого дыма.

– Что у тебя случилось-то? – наконец спросил я почти совершенно равнодушно.

Да, меня мало волновали и его радость, и его беспокойство, мне просто захотелось сделать ему приятное. Трудно было не заметить, что он ждал именно такого моего вопроса. И ответ не замедлил, обрушившись на меня со стремительно и нетерпеливо, будто убегающее молоко.

– Серёг, ты знаешь, я был сегодня у Юли!

Ах, Юля!.. Опять Юля. По правде, это уже вконец надоело. Юля, Юля, Юля. А раньше было – Анджелина Джоли, Анджелина Джоли, Анджелина Джоли. Чистой воды подростковый спермотоксикоз. И, собственно, при чём здесь Юля?

Я расстроился. Как-то не вязалось у меня в голове – Максим и Юля. Он – избалованный мальчик с необоснованными амбициями мачо. Она – глупенькая девочка-первокурсница. Её единственная беда в том, что красивая. И в том, что чем-то смахивала на Анджелину Джоли. Мне было жаль её. Мне было жаль её для Максима. Я уже не знал, как воспрепятствовать его видам на неё. Всё говорило о том, что я безнадежно опоздал. Что молоко убежало.

– Макс! – меня передёрнуло от раздражения. – Отстань ты от неё! Эта девочка не для таких, как ты. Вернее, не для таких, как мы. Она другого сорта. Сбейся уже! Она не будет с тобой, вот увидишь...

– Послушай! – Максим резко перебил, не дав мне поставить точку в этом неприятном разговоре. – У неё в комнате три кровати. Стоят параллельно и между ними небольшие такие проходы. Она лежала на своей у правой стены, а я лёг на соседнюю, которая посередине. Мы долго разговаривали. Ну, о разном, знаешь... Больше я говорил. Она такая молчунья, слово не вытащишь... Только смотрела на меня такими глазами... ласковыми... И я взял её руку. И мы долго так лежали на разных кроватях, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. Серёг, я видел – она согласна. Неделя – и Юля моя, вот увидишь.

Я промолчал. Только на манер Максима стал часто и порывисто стряхивать пепел в унитаз и беспомощно шуриться от едкого дыма. Максим же, выговорившись, наоборот успокоился. Но, выкинув окурок, всё-таки потянулся за ещё одной сигаретой.

– Давай по второй покурим, что-то я не накурился.

– Давай. Только открой дверь, тут уже дышать невозможно...

Он щёлкнул щеколдой, и в туалет потянуло относительной свежестью. Точно в той мере, насколько дым убывал в коридор. Правда, вместе со свежестью явственно пришёл ещё и запах гари.

Максим саркастически предположил:

– Видимо, кто-то хотел пожрать. Не срослось.

– Да, Макс, – сказал я. – В жизни оно часто не срастается. Особенно когда думаешь, что никак не может не срастись. В некоторых случаях это называется обломом. Как и у тебя в итоге будет.

Мне удалось это сказать с доброй насмешкой, и потому он не обиделся.

– Не тот случай! – засмеялся он. – Через неделю я приведу Юлю в нашу комнату. Ты уж погуляй где-нибудь вечером. По-дружески. Понимаешь?..

– Да брось ты этот спор дурацкий! Ну вот скажи, разве это тот человек, который тебе нужен?

– Хочу её. Она похожа на Анджелину Джоли. Честно говоря, я бы не прочь с ней замутить по-серьёзному.

В коридоре что-то звонко загремело, и кто-то негодуя крикнул:

– У кого молоко убежало?!

– О, кажется, вахтёрша проснулась, – прошептал Максим.

– Я спрашиваю, у кого молоко убежало?! – повторила вахтёрша. – И кто там курит?!

Где-то хлопнула дверь, и чьи-то торопливые шаги пронеслись по коридору в сторону кухни.

– Пошли отсюда, – горько, еле-еле ухмыльнулся я. – Спать пора. Как завтра на первую пару пойдёшь?

– Юля придёт будить, – зевая, ответил он. – Я её попросил. Говорю – мне очень надо встать, я уже третий день в универ не хожу, а не буду просыпаться – просто сделай мне больно...

Декабрь 2009 года

Я вышла с работы чуть позже обыкновенного. Он меня ждал. Почему-то во мне была непоколебимая уверенность, что когда-нибудь это произойдёт. Что его оставит гордыня, и ему захочется поговорить.

– Так и знала, что ты меня ждёшь, – сказала я, подходя к нему.

Он был грустным. Даже подавленным. И, вероятно, даже раздавленным.

– Я провожу тебя?

– Давай. Пешком пойдём?

– Да, пешком.

Мы долго шли молча. Было холодно. Пронизывающий ветер заставлял замирать моё дыхание и в бездыханности чувствовать, как по телу пробегает противная мелкая дрожь.

А ещё мне хотелось остаться на улице одной. Пусть холод, пусть ветер, пусть замирание и дрожь. Пусть всё, что угодно, только бы не держать под руку этого гордого и несчастного человека.

Мной всё больше и больше овладевал какой-то беспокойный страх. Страх мыслей, слов и действий. Все проходившие мимо люди казались мне милее, желаннее, роднее и лучше, чем тот, к кому прикасалась моя рука. Я боялась того, что он скажет. Я боялась того, что скажу я.

Нам посчастливилось пройти никак не меньше половины дороги до моего дома, когда терпение всё-таки изменило ему.

– Юль, что случилось? Что с тобой происходит? – спросил он глухим голосом.

Я промолчала. Это тут же вывело его из себя. Нет, не из себя – из того мнимого спокойствия, которое пребывало в нём, пока мы оба не решались произнести ни слова.

– Что ты молчишь?! Почему ты всегда молчишь?! Ответь прямо – я тебе надоел?

– Нет... – ответила я и ощутила, как горькой, обидной волной подступили слёзы к моим глазам. – Просто...

– Что «просто»?!

– Просто мы не сможем быть вместе...

– Почему, Юль?

– Не знаю... Я ничего не знаю. А больше всего я не знаю то, как мы можем дальше быть вместе. У нас есть только прошлое. Без всякой надежды на будущее.

– А настоящее?

Ах, настоящее!.. Как же надоело это настоящее! Секс и бесполезные разговоры, а потом невыносимая, не имеющая никакого выхода боль – вот и всё настоящее. Юля, Юля, Юля. И, собственно, при чём здесь Юля?

Мне не хотелось ему отвечать, мне не хотелось с ним говорить. Я плакала, и он не посмел больше задавать мне вопросы. Не посмел больше выходить из себя и повышать на меня голос.

Нет, не из себя – за то долго время, что мы были вместе, мне удалось хорошо его узнать. Да, он такой. Гордый и несчастный в своей гордыне.

Вдалеке показался мой дом. Я так обрадовалась ему, что позабыла и про холод, и про пронизывающий ветер, и про замирание, и про дрожь, и про страх.

Слёзы лились по щекам, но меня это уже не тревожило. Вот-вот мне предстояло забрать свою руку от самого близкого и самого чужого на свете для меня человека. И наконец остаться одной. Пусть и не окончательно, не теперь навсегда, но стать свободной от него.

Он довёл меня до подъезда и спросил, как и вначале, глухо:

– Юль, что случилось? Что с тобой происходит? Почему раньше было по-другому? Почему теперь так – и нет надежды... на будущее?

– Ты не хочешь меняться, ты не хочешь понять меня, подстроиться...

– Но зачем подстраиваться? Нужно быть собой.

Я попыталась избавиться от слёз, но не получилось. Его слова сделали мне больно. Что-то оборвалось у меня внутри и ринулось наружу отчаянным криком:

– Я всегда под тебя подстраивалась! Серёж, слышишь?! Всегда!!!

Его глаза сверкнули странным, каким-то новым, незнакомым мне огоньком и потупились.

– Не приглашишь? – коротко, еле-еле улыбнулся он.

– Нет. Прости, мне завтра рано вставать.

Март 2006 года

Зимний парк утонул в печальном тусклом свете редких фонарей. Вечерело. Было тихо и морозно. Подтаявший под дневным солнцем снег покрылся ледяной коркой и блестел. Колюче так и ядовито. Задумчиво высились тёмные стволы деревьев. Между ними спускалась вниз к опустевшей детской площадке широкая лестница из гладкого серого камня.

– О, давайте здесь встанем, – предложил Серёга.

Он освободил плечи от чехла с гитарой, положил его на мощный парапет и поёжился. Лёха, глядя на него, «разоблачаться» не стал.

– Так теплее, – флегматично заметил он и немного приподнял воротник куртки.

Три бутылки пива, звякнув друг о друга, очутились всё на том же парапете, но их почему-то никто не трогал. Они так и стояли, вбирая в себя стужу камня, угрюмо и задумчиво, совсем как тёмные стволы деревьев.

– Таки начинайте уже вашу «традицию», – поторопил всех Виктор. – Мне домой надо.

– Да подожди ты!.. – огрызнулся Лёха. – Разговор есть... – он осёкся, обвёл всех тяжёлым взглядом и вдруг выпалил: – Короче, пацаны, у Макса проблемы!

Виктор сконфуженно закурил, а Серёга, вдруг круто повернувшись ко мне, спросил с непонятным холодком в голосе:

– Что у тебя случилось, Макс?

Я смутился от такой его реакции – то ли он чересчур прозорливо догадывался, в чём дело, то ли уже всё знал. И если знал, то почему этот «холодок»? Меня опередил Лёха, потому что мне трудно было найти нужные слова, чтобы скрыть своё смущение.

– Юлька «залетела» от Макса. В выходные родоки приедут – его и её. Надо что-то решать. Или аборт, или...

– Какой аборт?! – перебил Лёху Серёга. – Пусть рождает! – он вновь посмотрел на меня, и я увидел его стеклянные глаза, от которых повеяло уже не мартовским непонятным холодком, а настоящим декабрьским холодом – беспросветным и неумолимым. – Всё, Макс. Игры закончились. И детство с ними тоже. Мужик должен отвечать за свои поступки. Мы поможем тебе, в чём надо. Бросай универ, ищи работу. Квартиру снимете. Деньги соберём. Никакого аборта, Макс. Это убийство. Это убийство твоего ребёнка, ты понимаешь?..

Я отвернулся. Взгляд обречённо упал на обледенелые ступени лестницы и дальше вниз – на опустевшую детскую площадку. Мне более, чем кому-либо из моих друзей было понятно, что детство закончилось. Да, так – беспросветно и неумолимо.

– Мы обязательно поможем, – решительно заверил Лёха. – Да, пацаны?

– Да, – кивнул Виктор. – Ну чего там с вашей «традицией»?

Мы поспешно открыли пиво и звонко, чувственно, стукнулись.

– За Макса. И Юльку, – сказал Серёга. – Кстати, как там она?

– Вроде ничего, – ответил я, жадно опрокинув в себя огромный глоток пивной горечи, так что слёзы выступили на моих глазах. – Молчит. Как обычно...

В тот момент мне не хотелось ни с кем говорить о ней. Какие слова? Никакие слова не могли растопить лёд нашей с Юлей безысходности, как и слабое мартовское солнце не смогло растопить снег, который теперь блестел под унылым светом редких фонарей. Колюче так и ядовито. Это только моё. Это только моё. Мне лучше молчать, как Юля. Приехать в общагу, подняться к ней в комнату, лечь рядом и обнять. Молча. И обо всём на время забыть.

Мы быстро выпили пиво и разошлись. Лёха с Виктором направились к выходу из парка, Серёга и я – вниз по лестнице, к детской площадке. Да, вдруг подумалось мне, детство не просто закончилось, оно вырвано с корнем – может, поэтому так больно где-то там внутри, где когда-то было моё детство.

Июль 2007 года

Теперь мне ясно совершенно точно – тогда всё и закончилось. Один за другим ушли из группы Макс и Лёха. И хотя быстро появились новые люди, первое, такое искреннее чувство пропало навсегда. Но надежда и наивность не давали осознать это со всей прямоотой, с какой только может смотреть правда в твоё лицо.

Серёга в то время снимал комнату вместе с Бородиным, не совсем вменяемым чудаком, но зато при немалых родительских деньгах. Немалые деньги они тратили удивительно быстро – в основном, на бухло. Едва хватало на еду и плату за комнату.

У Бородина едва хватало денег на билет, чтобы раз в неделю съездить домой за деньгами. У Серёги едва хватало здоровья на беспробудное пьянство и нездоровые чудачества не совсем вменяемого соседа. Кажется, втайне они едва терпели друг друга.

Тем летом я ходил к ним почти каждый день. Чтобы посмотреть правде в глаза. И не мог увидеть там никакой правды. Возможно, я сам приносил им немного правды. А уносил от них лёгкий дурман невменяемости, что позволяло мне вновь и вновь возвращаться.

– Здорово, – Серёга сухо протянул мне руку.

Я поймал его взгляд – бледный, погасший, больной – и ответил как можно бодрей:

– Здорово! А где Бородин?

– Уехал за деньгами.

– А-а... – со скрытой усмешкой протянул я. – Таки странно. Он же недавно ездил.

– За комнату надо платить. Денег нет.

– А-а... – моя повторная усмешка, чуть было не сдав себя со всеми своими скрытыми потрохами, виновато умолкла.

– Вить, дай взаймы. И пойдём, что ли, прогуляемся, пивка попьем. Не могу я здесь больше находиться.

Мы спустились вниз, вышли на улицу и побрели куда-то – неспешно и бесцельно. Серёга, купив пиво, заметно оживился.

Я пытался заговорить о музыке, но он всё время переводил тему то на деньги, то на свою депрессию, то на чудачества Бородина. Часа за два описав внушительный круг, мы вернулись к изначальной точке – палатке возле подъезда. За это время пивной хмель из Серёги выветрился, он снова помрачнел и, порыскав в карманах мелочь, купил ещё одну бутылку.

Меня густо и холодно накрыла привычная пелена невменяемости. Это когда становилось настолько уныло, что хотелось поскорее уйти домой. Я засобиравшись и напоследок спросил с робкой надеждой и почти умалишённой наивностью:

– Серёг, а репетиция-то будет у нас или нет, я забыл спросить?

Он неохотно поднял на меня свои бледные, погасшие, больные глаза и сказал:

– Знаешь, Вить, мне сон приснился. Будто у Юли давно есть или был, не известно точно, незнакомый мне парень. Она пришла ко мне в какую-то квартиру, где я вроде как живу. В каких-то идиотских зимних колготках, старомодных таких, ворсистых. Сидит, плачет и не хочет уходить. Я ей говорю, мол, уходи, я видел твоего парня, не могу с тобой быть после этого. А она не уходит. Но потом всё же ушла...

– А-а... Подожди, вы же с Юлькой расстались, ты говорил...

– Да, как бы расстались. И как бы нет. Она не хочет расставаться. И я не хочу, но... Но вот приснится же такое. Парня я хорошо запомнил. Худенький, повыше меня, темноволосый, острые черты лица, джинсы на нём синие и рубашка... такая... в клетку, что ли...

Я не выдержал и перебил его:

– Серёг, что с тобой происходит-то?

– Ничего, Вить, – он сухо подал мне руку на прощанье. – Больно мне.

И ушёл. А я решил больше не приходить сюда за правдой, потому что правда стояла передо мной и смотрела мне в лицо. Со всей прямоотой.

Сентябрь 2006 года

Жутко болела голова. Повсюду воняло блевотиной – от одежды, от рук, от собственного дыхания. Перед глазами слезоточиво расплывалась действительность грязно-белым потолком и безвкусыными коричневыми обоями на стенах.

Грязно-белый потолок был похож на мою жизнь, а коричневые обои на говно. Моя жизнь – говно. Отодрав голову от подушки, я перегнулся к краю кровати и поблевал в тазик.

Вони стало больше, но действительность обрела некоторую резкость, так что «моя жизнь» и «говно» расплывались уже чуть меньше. И я хотя бы на малую толику почувствовал себя всё же человеком. Жаль. Человек умеет думать мысли. Так ещё хуже. Так ещё сложнее. Легче быть нечеловечески бессознательным куском мяса. И ничего не думать. И ничего не думать. Я собрал все мысли в одну кучу и увидел в них Юлино лицо. С ласковыми глазами.

– Какая же ты, Юля, всё-таки дрянь, – беззвучно сказали мои губы, источая блевотную вонь.

– Милый, милый мой, – ласково прошептало лицо и пропало.

Я встал. Мне надо было уйти из этой комнаты. Не важно куда. Хоть на край света. Хоть в ад. Главное – не видеть их вместе. Они могли прийти сюда в любой момент. Счастливые и опьянённые страстью друг к другу. Где я – лишний. Где мне можно только прижаться затравленно к самому краю света и нюхать свою блевотину. Где легче быть нечеловечески бессознательным куском мяса. Где меня лучше сразу в ад. Что ж, и то неплохо. Лишь бы там не оказалось Юлиного лица. С ласковыми глазами.

Я переоделся, собрал самые необходимые вещи и уже направился прочь из этой комнаты, когда мой взгляд упал на книжную полку. Там сиротливо пылился прошлогодний подарок от Юли – маленькая фигурка жениха и невесты. Какой трогательный сарказм!.. Хоть плачь...

Я снял фигурку с полки и поставил её напротив двери. Потом выдрал из тетради листок и крупно написал на нём: «УДАРЬ НОГОЙ!».

– Ударь ногой, Юля, если ты такая дрянь, – с прежней беззвучностью сомкнулись мои губы, слюнявя омерзительную кислоту протухшего ещё вчера дыхания.

Наверное, так дышат в аду. В аду всё протухшее. В аду нет сегодня. В аду всегда вчера.

Я бросил листок подле фигурки жениха и невесты и загнал таз с блевотиной под кровать.

– Нюхай мой ад, когда будешь попирать мою любовь. И мою боль.

Вот такой ответ на трогательный сарказм. Настолько беззвучно, насколько могло позволить хрупкое отсутствие плача. Хотя что уж там стыдиться?.. И кого? Уж никак не грязно-белого потолка и безвкусных коричневых обоев на стенах. Моя жизнь – говно.

Я ушёл поспешно. Пока не появились те – счастливые и опьянённые страстью друг к другу.

Январь 2008 года

Общага казалась совершенно пустой. Многие ещё не приехали с каникул. Многие приехали, но с праздничным настроением – и потому гуляли где-то в городе. Остальные, внимая непривычной для общаги тишине, сидели в своих комнатах меланхолически тихо. Как и мы. Серёжа смотрел телевизор, а я готовила ужин. Мне было так спокойно и хорошо, что чудилось, будто рядом поселилось счастье. По-моему, счастье и должно быть тихим.

Я подошла к нему сзади и крепко обняла за шею. Чувствуя его тепло и преисполняясь нашим общим теплом, сказала на ушко жарко:

– Люблю тебя!..

Он повернулся ко мне и немного смущённо ответил:

– Я тоже тебя люблю.

– Правда?

– Правда.

Я прижалась к нему ещё сильнее, так сильно, насколько позволяла телесная близость. И моя нежность.

– Мне очень хорошо с тобой, Серёж.

– Мне тоже.

– Мне страшно потерять тебя. Я не смогу без тебя.

– Знаешь, некоторые говорят, что третий год самый трудный в отношениях. Если люди переживают его, то живут потом долго. А мы уже сколько вместе?

– Целую вечность. Ерунду какую-то говорят. Хоть три, хоть пять, хоть десять, хоть всю жизнь. Я всегда буду любить тебя.

– Юль, послушай, мы только полтора года встречаемся. А кажется, так давно...

– Я всегда была с тобой.

– Разве? – горько, еле-еле ухмыльнулся он.

– До тебя у меня не было жизни. И после тебя не будет.

– А что будет после меня?

– Ничего.

Мне стало обидно, и я хотела отстраниться, но его руки удержали меня.

– Серёж, мне на кухню надо... А то сгорит...

Он отпустил. Быстро. С торопливой быстротой. Как бросил. Как выбросил. И пусть. Так мне и надо. Мне надо всё принимать с покорностью. И молчать.

Я, выброшенная, покорно и молчаливо выскочила за дверь. Покорно и молчаливо пролетела по коридору. Покорно и молчаливо остановилась у кухонной плиты. Покорно и молчаливо открыла крышку сковородки. Сгорело...

Он встретил меня с тихой улыбкой.

– Прости, Юль.

По-моему, счастье и должно быть тихим. И жарким. Как огонь. Грейся возле него. Но не безумствуй. Не суй в него руки. Руками его не удержать. Будет очень больно.

– Нет, ты меня прости. Я просто хочу всегда быть рядом с тобой. Ты не бросишь меня?

– Я никогда не брошу. Если ты не бросишь меня.

– Я никогда не брошу. Мне очень хорошо с тобой, Серёж. Я безумно люблю тебя.

– И я тебя.

Он взял мои руки и жарко поцеловал их.

– Холодные какие...

Я улыбнулась.

– Погрей...

Апрель 2005 года

А вот, правда, почему я такое ничтожество? И именно теперь, в данную минуту. Раньше-то было лучше. Было лучше. Будущее же греет наивная надежда, что будет лучше. Но ничтожество так и остаётся, и остаётся ничтожеством. Вместе со своим ничтожным настоящим.

Будущее безнадежно отправляет каждую новую минуту в прошлое, отогревая её, зябкую, лучшим смыслом. Раньше-то было хорошо. Не то, что теперь... Правда, это никак не отвечает на вопрос, почему я такое ничтожество.

Я лежал в нашей с Максимом комнате и уныло созерцал потолок. В полном и исчерпывающем одиночестве. Максим сразу после универа ушёл к Юле. Соседи за стеной притихли, тоже, видимо, куда-то свалили. Мне никуда «валить» не хотелось. Мне ничего не хотелось. Разве может что-то хотеться ничтожеству?

Я взял тетрадь и попробовал выразить словами свои чувства. В итоге написал вот эту хрень:

...Нет ни единой мысли в голове. Глухо. Тускло. И нестерпимо страшно. Кажется, что меня нет. Или наоборот только кажется, что я есть. Не знаю, как правильно. Хотя это не важно. Всё неправильно. Похоже, с самого начала... С самого начала у меня всё было неправильно. Путь в пустоту. Падение в пустоту. Или даже бегство в пустоту. От кого? От чего? Можно придумать много самооправданий. Например, «от себя». Всем известно, что от себя убежать нельзя. И уж точно нельзя убежать от «себя» такому ничтожеству, как я.

Не хочу оправдываться. Мне страшно. Мне никогда не оправдаться. Буду сам себя успокаивать, лгать, глупо улыбаясь, смеяться, иногда печалиться – в общем, буду как ни в чём не бывало жить. И всё так же буду бежать в пустоту.

Я говорю себе: «Это конец». И пустота входит в меня, обволакивает, мягко, но настойчиво, порой нахально, по-хозяйски, грубо лапает мои мысли, мои чувства, смеётся над ними, проникает в их сокровенные места и насилует их, дико, по-зверски, безжалостно заставляет их умирать.

А иногда она бывает добрая, робко спрашивает: «Можно?» Я молчу, но она не уходит, стоит вот так над душой, и всё вокруг теряет краски, теряет смысл. Хочется забиться куда-нибудь в угол, на край света, в самый угол края света и перестать существовать. А она стоит и бесстрастно взирает на мои мучения. Впрочем, возможно, и не бесстрастно. Я уверен, ей приятно, когда мне плохо.

Я ненавижу её. Но вместе с ненавистью поселилось и ещё какое-то чувство. Его трудно объяснить. Я чувствую, что нужен пустоте. Она

не спрашивает, чем я занимаюсь, сколько у меня денег, ей не нужно ничего. Только я. Удивительно, что я кому-то ещё нужен. Это приятно. Но очень странно. Похоже на какую-то ловушку. Так не может быть. Я один. Как и все. Все одинокие. И одинаковые. Одинаково одинокие.

Кто-то поспорит. Потому что у него всё хорошо. К нему не приходит пустота. У него всегда есть мысли в голове. Ему не страшно. Он уверен в себе. Пока. И пока он будет спорить.

Я не хочу спорить. Я не прав. Всегда и во всём не прав. У меня с самого начала всё было неправильно. Я не претендую ни на что, даже не знаю, что хочу сказать. Хочу не столько говорить, сколько найти слушающего. Но слушающий пока только пустота. Она – зло с великодушными глазами. В них океан грусти, который поглощает, засасывает, аж до боли в сердце становится кого-то очень-очень жаль. Наверное, себя. Пустота издевается надо мной. Она – это добро с лукавым лицом. Она любит притворяться. Упивается собственной ложью. Предлагает всё, что хочешь, но ничего из этого нет на самом деле. У неё миллионы лиц, тысячи идей и мнений, где каждое слово ложь, каким бы добрым и даже честным оно ни казалось. У неё множество глаз, множество ушей, множество рук и ног... И лишь одна цель – ты! В данном случае я – ничтожество. Маленький и серый, забытый и ненужный человек, сидящий в своей клетке и жалеющий себя, плачущий и бормочущий сквозь слёзы одну и ту же фразу: «Это конец... Это конец... Это конец...».

...Глухо. Тускло. Такая тишина, что мнится, будто я чувствую, как течёт кровь в моих венах. Но это не страшно. Страшно, когда совсем ничего не слышно и не видно, когда совсем ничего не чувствуешь, не можешь чувствовать и не хочешь чувствовать. Когда никого и ничего нет.

А пока всё не так уж и плохо. Завтра рано вставать, заведу на шесть будильник, позавтракаю, поеду слушать умных людей, буду ходить и улыбаться, сидеть и улыбаться, стоять и улыбаться, что-нибудь ещё делать и улыбаться, ничего не делать и улыбаться, мило улыбаться, просто улыбаться, широко улыбаться, глупо улыбаться, ехидно улыбаться, лукаво улыбаться, улыбаясь улыбаться, не улыбаясь улыбаться!.. Надоест улыбаться, поеду домой и лягу спать...

...Ни единой мысли в голове. Так пусто внутри, что кажется, будто меня нет...

Прочитав хрень никак не меньше десяти раз, я с раздражением бросил тетрадь на пол и опять уставился в потолок. Глазами отыскал прошлогоднюю высохшую муху. Смотрел на неё долго, неотрывно и как-то ласково. Почувствовал единение. Жалел её. И себя. Себя через неё. Да, мы оба – ничтожества. Разница только в том, что она этого не знала, когда была живой – в прошлом году, – а я человек. Человеком быть хуже. Человек умеет думать мысли.

Моё единение с мухой разорвал Максим. Он ворвался в комнату, словно наглая смерть, и отправил меня сразу в ад.

– Серёга, пошли! У Юльки сегодня день рожденья! Давай, вставай!

– Не хочу, Макс, – отозвался я из самых глубин ада отстранённо, даже не повернув головы.

– Пойдём, Юлька тебя зовёт!

– Не хочу, Макс. Я-то ей зачем?

Вопрос поставил его в неловкое положение, и первоначальный напор ослабел.

– Ну, ей хочется, чтобы все друзья были. Ну и...

– Я друг? – несколько грубовато перебил я.

– Ну да.

– Ну пошли.

Когда мы поднимались в её комнату, меня всё время тянуло вернуться назад, в свой ад. Это ещё не поздно было сделать даже перед самой дверью. Не поздно было сделать и за дверью. Окончательно стало поздно, когда мне протянули пластмассовый стакан с водкой.

– Серёж, а почему ты сразу не пришёл? – спросила Юля. – Чего делал?

– Ничего. Хрень писал.

– Новую песню?

– Хрень, Юль.

– Ладно, Серёг, – вмешался Максим, чмокнув Юлю в щёчку, – говори тост!

– За рай! – громко, чтобы переорать многочисленных друзей и подружек, провозгласил я. – Желаю, Юль, чтобы жилось тебе, как в раю!

– Да-а! – потянули стаканы друзья в общую кучу, расплёскивая водку.

– У-у! – потянули стаканы подружки в общую кучу, расплёскивая вино.

Весь вечер я пил и водку, и вино, и потом пиво, со всеми чокался, со всеми братался, обнимался, всем желал «рая» даже тогда, когда пару человек от «рая» хорошенько стошнило.

Чтобы не «палиться» перед вахтёршей, меня оставили на средней из трёх кроватей. Гостеприимная Юлина сожительница перебралась к подружке на левую кровать. Максим лёг с Юлей на её – правую.

Я никак не мог заснуть. Всё думал о высохшей мухе и о том, какое я ничтожество. Мои мысли копошились, налезая друг на друга, чем приносили голове немалые страдания.

Подружки слева захрапели. Сквозь храп я слышал неустанную молчаливую страстную возню справа. Лишь раз страстная возня прервалась страстным же шёпотом.

– Макс, я люблю тебя...

– Я тоже тебя люблю, Юль...

Я ухмыльнулся про себя слабо. Еле-еле – но очень горько. Эта горечь забрала у меня все последние силы. Ещё минуту назад мне хотелось встать и уйти, наплевав на вахтёршу. Но теперь уже не хотелось ничего. Разве может чего-то хотеться ничтожеству?

Я тупо и бессмысленно созерцал тёмный потолок. По щекам тонко бежали тупые и бессмысленные слезинки. Ни единого движения. Весь превратился в слух. И слух неустанно и молчаливо грыз моё сердце. Почему-то было очень противно и больно слушать страстную возню этого чужого мне рая.

Июнь 2007 года

Они думали, что я ушёл из группы из-за Макса. Они оба – и Витя, и Серёга.

И пусть тогда действительно всё треснуло пополам – причина не в ком-то, а во мне самом. Да, я пожалел друга. Витя друга не пожалел. Серёга никого не пожалел. Он просто провёл по трещине черту, сказав мне: «Лёха, мы с Максом больше не друзья». Отчертил как отрезал.

Так и оказались по одну сторону черты они с Витей, по другую – я и Макс. Никто не заметил, что мне пришлось отскочить, дабы меня не разрезало на два бесполезных куса мяса. Каждый думал только о себе. Макс о том, как ему теперь жить. Серёга о том, как ему теперь жить. Витя о том, как ему теперь жить. А я думал о том, как теперь жить всем.

В итоге все как-то зажили. Без меня.

Макс свалил куда-то. Серёга с Витей набрали новых людей. Я несколько раз приходил к ним на репы. Из-за черты. Всё жалел прошлое... Чёртова жалость! Как ни крути – всё те же два бесполезных куса мяса. Оба – вычеркнуты.

Мы встретились случайно возле общаги, где раньше жили Серёга с Максом. Где раньше мы репали и пили пиво. Где, напившись, ходили по комнатам в поисках девчонок. Где всё началось, и где всё закончилось.

Витя обошёлся со мной настороженно и холодно. Подал руку и сделал вид, что торопится. Но Серёга задержался. Даже, казалось, обрадовался встрече.

– О, Лёха! Здорово! Как поживаешь?

– Здорово. Да ничего, – соврал я. – А ты?

Мы тепло обнялись, и он ответил с усмешкой, горькой такой и короткой, еле-еле заметной:

– Да так, знаешь... Вот с репы идём...

– Как репа?

– Да так, знаешь... А ты вернуться в группу не хочешь?

Эти слова упали на меня точно кирпичом и оглушили. Там, за чертой. Я растерялся и пришёл в себя только тогда, когда увидел холодные и настороженные Витины глаза. По ту стороны черты. Да. А Серёга стоял посередине, рискуя быть разрезанным напополам. Как и я когда-то. Мне ничего не оставалось, кроме как отпихнуть его.

– Не знаю... Подумаю...

На той стороне он сразу погрузился и обиженно протянул руку, прощаясь.

– Ну, надумаешь, позвони. Хочешь, к нам с Юлькой приходи. Мы теперь не здесь живём. Комнату сняли...

На том и разминулись. Они с Витей пошли дальше. А я остался стоять за чертой. С обрушившимся мне на голову «кирпичом» в руках. Отчего-то мне было приятно ощущать его угловатую и шершавую твёрдость.

Я позвонил Серёге через некоторое время. Мы условились попить пива где-нибудь возле его дома. Когда выпьешь, легче сказать то, что не хочется говорить в трезвом уме.

Он пришёл с Юлькой, а я со своим «кирпичом». «Кирпич» в моих руках успел порядком пообкрошиться и пообтесаться, из-за чего его углы стали более округлыми, а грани более гладкими. От него пахло сыростью и несвежестью. Меня это угнетало. Может быть, поэтому я и позвонил.

Юлька, увидев меня, сразу убежала. Оно и понятно – уж кто-кто, а она точно находилась далеко за чертой. Я проводил долгим взглядом её бегство и смущённо заметил:

– Похудела она с тобой что-то, Серёг. С Максом попухлей была...

– Мне худенькие нравятся, – оборвал он меня жёстко. – Лёх, что ты решил? Вернёшься к нам?

Меня задела его жёсткость, что позволило не подбирать слова.

– А зачем? У вас и без меня всё нормально.

– Не всё, Лёх. Ты бы точно не помешал. Если ты ушёл не из-за Макса, то...

Я оборвал его не менее жёстко:

– Нет, не вернусь. Если я уйду, то уйду навсегда.

Он умолк. Выпив по бутылке пива, мы расстались.

«Кирпич» бесполезно вонял в руках сгнившим мясом обоих моих кусков. И жалко было его выбросить. Чёртова жалость!.. Прошлого не вернуть. Никогда не будет так, как раньше.

Я размахнулся и что есть силы швырнул «кирпич» прочь от себя. На ту сторону черты. Он с грохотом ударился об асфальт и разбился на множество осколков. Стало очень больно, будто вместе с ним разбился и я.

Ноябрь 2004 года

– Всё, Серёг, Юля – моя девушка! – объявил Максим, срывая постер Анджелины Джоли с дверцы шкафа. – У тебя сегодня какие планы на вечер? Уговор наш помнишь? Мне комната нужна часа на два, на три. Погуляешь где-нибудь, хорошо? По-дружески.

Гулять мне не хотелось. Но против «по-дружески» не попрёшь.

– Два, три, четыре. Хорошо, – неохотно согласился я. – А чем тебе Анджелина Джоли не угодила?

Он скомкал обрывки постера и выразительно бросил их в мусорное ведро.

– Да ну, в жопу это детство! У меня Юлька есть, мне больше никого не надо.

Меня разобрал смех.

– Боишься облажаться, что ли, на глазах у Анджелины?

– Нет, просто меня теперь больше интересуют Юлины глаза.

– Хм. Не вижу разницы. Глаза один в один. Да и лицо очень похоже. Фигура только другая. Юля всё-таки толстовата.

– Серёг, она не толстая, – обиделся Максим.

– Я не говорю, что она толстая. Просто в сравнении с Анджелиной Джоли...

– Да ну тебя в жопу! Анджелина Джоли, Анджелина Джоли, Анджелина Джоли. Долго ты ещё будешь надо мной посмеиваться? Вон она – в ведре, эта Анджелина Джоли. Разорванная в клочья.

– Вижу. А вот, Макс, не больно тебе вот так детство своё в клочья рвать?

Моя ирония его развеселила.

– Нет, – широко улыбнулся он. – Сегодня будет Юльке немного больно. Чуть-чуть. А потом хорошо.

– Подожди, – нахмурился я. – Она – девочка, что ли? Эх, Макс, Макс... Любишь ты девочек портить.

– Да иди ты в жопу!

Максим звонко, по-мальчишески, захохотал и кинулся меня душить. Его хохот совпал со стуком в дверь. Дверь приоткрылась, и в проёме показалась кудрявая Юлина голова.

– Можно к вам? Что это у вас так весело?

– Можно, – ответил я. – Макс рассказывал мне про жопу.

– Про какую жопу? – Юля зашла и смущённо присела на Максимову кровать.

– Про жопу Анджелины Джоли, – поспешил подхватить Максим. – Серёге нравится её жопа.

– Я ничего не поняла. А где постер?

– В мусорном ведре, – чувственно вздохнул он и потеснил Юлю на кровати, недвусмысленно скрипнув пружинами.

– Макс окончательно порвал с детством, – насмешливо вздохнул я, надевая тапочки и запихивая сигареты в карман. Когда бесцельно гуляешь по общежитию, курить хочется особенно часто.

– Зачем? Рвать с детством очень болезненно, – укорила Максима Юля.

– Совсем нет. Если только самую малость, – подмигнул мне Максим.

– Макс теперь взрослый. Он теперь не боится боли. Он сам её причиняет, – подмигнул я Юле.

Февраль 2006 года

Юля позвонила мне сразу после универа. Не вовремя. Лёха ждал меня в раздевалке, чтобы подытожить окончание недели в кафешке парой-тройкой кружек пива, и я соврал, что пока не освободился.

– Как же? Я посмотрела в расписании, последняя пара у тебя закончилась, – не поверила она.

– У меня дела ещё в городе, – в голову ничего больше не пришло, кроме как опять соврать.

– Понятно. А когда приедешь?

– Вечером, наверное. Раньше не получится, Юль.

– Понятно. Приедешь – приходи ко мне. Я буду ждать.

– Конечно. Хотя, знаешь... Давай лучше ты ко мне. Серёга вчера домой свалил. Так что у меня на ночь останешься. Хорошо?

– Хорошо, милый.

– Ну всё. Приеду – позвоню тебе.

– Хорошо, милый. Люблю тебя.

Лёха, выглянув из раздевалки, нетерпеливо развёл руками.

– И я тебя.

Я поспешил разъединиться.

– Лёх, ну чё ты руками машешь? Юлька звонила. Пошли уже!

В кафешке, опустошив по первой кружке, мы вкусно закурили, и Лёха спросил меня:

– Макс, а ты всё её не вые**л, что ли?

Ему нравилось поднимать эту тему примерно раз в месяц, причём чем дальше, тем ироничнее и обиднее звучал его вопрос.

– Всему своё время, Лёх, – попытался отмахнуться я.

– Нет?

– Меня и так всё устраивает. Мне пока это не надо. Ты просто не знаешь, как она минет делает.

– Подожди, «минет». Скажи – нет?

– Ну нет.

– Понятно, – Лёхины глаза прыснули безмолвным смехом. – Чудак ты. Я за пивом. Будешь?

– Буду. Две мне в самый раз – и поеду.

Допивая вторую кружку, Лёха всё-таки сменил «пластинку».

– Чё там Серёга-то?

– А чё он? Домой уехал.

– Я не об этом. Вы песню новую репаете или как?

– Да нет. Он бесится, его не устраивает, как я играю. Не удивлюсь, если ему захочется выпихнуть меня из группы.

– Не выпихнет. Я буду против, ты же знаешь. Только ты сам виноват. Ты – лажа ходячая.

– Лёх, я же стараюсь. Я всё делаю, как вы мне говорите.

– Ты делай, как Витя говорит. Вы же ритм-секция. Неужели так трудно тупо в «бочку» попадать?

– Почему? В «бочку» я попадаю.

– Никуда ты не попадаешь. Юльке попасть не можешь, а уж в «бочку» и подавно. Я за пивом! Будешь?

– Давай... По третьей – и тогда точно поеду.

Однако мы выпили ещё по три кружки, и я едва не опоздал в общагу к закрытию. Когда бежал от остановки, набрал Юлю.

– Алло, спускайся ко мне. Я приехал.

– Ты бы ещё ночью позвонил... – недовольно пробурчала она.

Но пришла. В домашнем платье цвета индиго с греческим орнаментом по швам. Пышные кудряшки соблазнительно падали на стыдливо опущенное вниз лицо и заслоняли собой большие ласковые глаза.

Я поцеловал её. Продолжительно и напористо.

- Ты пил? – отстранилась она, когда мой напор повлёк её к кровати.
- Да, пивка немного выпил. Мы с Лёхой в городе встретились.
- Понятно. Я тоже пива хотела.
- А я тебя хочу.

Она улыбнулась. В этот раз мне удалось произнести ключевые слова первым. Хотя какая разница? Ключ щёлкнул в замочной скважине, и замочный механизм податливо повернулся.

Моя красная спартаковская футболка с «девяткой» на спине полетела на пол. Туда же Юлино платье цвета индиго с греческим орнаментом по швам. И страсть. И страсть. Торопливая. Быстрее. Ещё быстрее. Суетливыми руками мои джинсы – она. Суетливыми руками её бюстгальтер – я. Прочь. Прочь.

- Выключи свет, – задыхаясь, прошептала Юля.

Ей всегда мешал свет перед тем, как остаться совершенно голой. А мне мешали носки. Я снял их и мягко нажал на выключатель. Сквозь темноту на запах своей страсти добрался до кровати и лёг. Сжал в объятьях огнедышащее тело, пахнущее близостью. Руки. Руки. Моя – ненасытно от одной груди к другой и вниз, влажно по животу, ещё ниже, ещё горячее, ещё влажнее. Её – бесстыдно снизу вверх, сжимая страсть в кулак. Торопливо. Быстро. Ещё быстрее.

- Давай по-настоящему, – задыхаясь, прошептал я.

– У нас же не получается, – напряглась она, и её кулак разжал мою страсть. – Но давай, если хочешь...

Мне всегда мешал страх перед тем, как войти в неё. А ей мешала боль.

- Хочу.

Это ключевое слово – от меня, от неё, от нас двоих. Хотя какая разница? Ключ щёлкнул в замочной скважине, и замочный механизм податливо повернулся.

Я слушал скрип пружин и попираю свой страх. Вместе с её болью.

- Мне больно...

Глубже, ещё глубже, ещё горячее, ещё влажнее.

- Мне больно, милый...

Скрип пружин. Только скрип пружин. Этот звук очень вязкий. И по цвету, как кровь. Точь-в-точь, как моя спартаковская футболка с «девяткой» на спине.

- Мне больно, Макс...

Скрип пружин. Раз. Два. Три.

- Мне больно, Макс!..

Четыре. Пять. Шесть.

- Макс, мне больно!

Семь. Восемь. Девять.

- Макс!

Её крик обрывисто перешёл в стон. И в мою страсть. И в мою страсть. Торопливо. Быстро. Ещё быстрее. Скрип пружин слился в единый плавающий фон, подавляя, заглушая стон, взвинчиваясь, взвинчиваясь, пока, взвинтившись до безумия, вдруг не лопнул оборванной струной пронзительно и резко.

Я затих, чувствуя, как хлынут остатки моей страсти пульсирующей влагой в самый огонь. Меня охватила паника. Прочь. Прочь.

- Макс... ты успел? – испуганно вскрикнула Юля и рванулась из-под меня.

– Да... да, Юль, – соврал я, с надеждой ощупывая под собой простынь. – Вот... видишь пятно?

- Где? – она провела рукой. – Нет ничего.

На простыне ничего не было. Даже крови.

- А вот... на коленке у тебя... чувствуешь?

– Чувствую. А что так мало? Ты не успел, Макс?

– Совсем нет. Если только самую малость...

Она легла и обречённо закрыла лицо кудряшками. Я разгрёб их, пытаюсь увидеть её большие ласковые глаза.

– Юль... Юль, ну, ты чего?

– Макс, я просила тебя остановиться. Мне было больно.

Её большие ласковые глаза стали маленькими и сердитыми. И тогда ко мне вернулся страх. Но не тот, что преследовал раньше. А новый. В нём не было прежней игривой боязни, в нём даже не было сиюминутной агонизирующей паники, он просто крепко держал меня в своих объятьях, по-настоящему. От его давления красные круги поплыли вокруг меня в темноте.

– Юль, а почему крови не было? – спросил я, тщетно стараясь их разогнать.

– Не знаю. Это важно?

– Нет. Но должна же быть... А её не было. Странно, да?

– Зато была боль, Макс.

Май 2005 года

День Победы разочаровал. Весь день лил дождь. Полдня дул сырой западный ветер. Он всё гнал и гнал новые тучи, ещё больше, ещё тяжелее, ещё чернее.

В комнате сделалось так темно, что я не находила себе места. Позвонила Макс. Макс сказал, что приедет на последнем автобусе. Это вконец расстроило. Три дня выходных, мне хотелось быть с ним, а ему вдруг вздумалось поехать домой. Лучше бы я тоже уехала.

Вышла в сумрачный коридор, устремила куда глядели глаза. На балкон. Долго курила. Одну, вторую, третью... Когда сигареты уже не лезли, вернулась в комнату, села на кровать. Ждала чего-то... Дождалась Ленку. Она влетела ко мне такая мокрая и зябкая, но свежая и бесконечно счастливая.

– О, сидит одна! В темноте. Сама чернее тучи. Вставай, пошли к ребятам!

– К каким ещё ребятам?

– Как к каким? К Серёге и Макс.

– Макс ещё не приехал.

– Ну, приедет твой Макс, Серёга сказал. Вставай, давай, там Серёга и Бородин с ним. Они пиво пьют. Пойдём, говорю, а то нам ничего не достанется!..

Ленка – классная. Она – живчик. Ей совсем не трудно было делиться своей живостью со мной, хотя я – флегматичная ледышка. Ей совсем не трудно было тащить меня, примёрзшую, на свет, на тепло.

– Лен, мне неудобно как-то...

– Началось! Ты же сама хотела к Серёге на 9 мая!..

– Я думала, там Макс будет.

– А тебе какая разница? Серёга тебя съест, что ли, без Макса?

Я оттаяла. Серёжа не съест.

Мы спустились вниз, попутно заскочив к Ленке, чтобы она переделалась, и возле Серёжиной комнаты натолкнулись на Бородина.

– А вы куда это? – зычным полупьяным голосом прогромыхал он на весь коридор.

– А ты куда? – с иронией ответила вопросом на вопрос Ленка.

Слава ненормального чудака закрепились за Бородиным в общаге настолько сильно, что мы от него всегда ожидали нечто непредсказуемое. Если прибавить сюда ещё и его отнюдь не добрый характер, то попросту подянки какой-нибудь боялись.

– Tag des Sieges! – воскликнул он, вскидывая руку от сердца к солнцу, бесследно пропавшему в черноте туч. – Мы с Серёгой в честь Дня Победы решили победить всё немецкое

пиво в нашей палатке! Тётка-продащица сказала, что у неё осталось только бутылок пять «Lowenbrau» и «Beck's» – бутылки три-четыре. «Holsten» мы весь у неё выжрали. Так что das Ende. Gott mit uns. Der Sieg ist unser!

Пока Бородин, празднуя «победу», бегал за пивом, Серёжа как-то чересчур по-трезвому грустно разгребал в комнате алюминиево-стеклянные следы нешуточной «войны». Хотя было видно, что он пьян. Его опьянение всегда заметно по необычайно дерзкому блеску в глазах. Впрочем, суть не в самом блеске, а в его очевидности. Глаза ловили и захватывали взгляд. Мой взгляд.

– Женщинам – «Beck's», а нам, мужикам, «Lowenbrau», потому что его больше! – объявил вернувшийся Бородин.

– И как только в вас лезет? – весело засмеялась Ленка.

А я молчала. За всё то время, что мы сидели с Ленкой у ребят, я, кажется, не проронила ни слова. Мне хотелось уйти. Нет, мне не хотелось уйти. И оставаться здесь тоже не хотелось. Не хотелось оставаться здесь собой. Наедине со своим взглядом. Пойманным и пленённым.

Когда Ленка и Бородин вышли покурить, Серёжа встал и подошёл ко мне. Я тоже встала, пугаясь саму себя. Он оказался так близко, что меня это немного образумило.

– Что ты делаешь?

– Пока ничего. Не бойся, не съем.

– Знаю, не съешь. Я не боюсь, – услышала я свой голос, как будто и правда мне удалось перестать быть собой.

Его руки осторожно коснулись моей талии. Ещё мгновение – и меня нехватило бы даже на самое беспомощное сопротивление. А мне необходимо было сопротивляться любой ценой.

– Серёж, не надо. У меня же... Макс есть...

Он сдался в один миг. Виновато и обречённо.

– Да, конечно...

Никогда в моей жизни победа не казалась столь ненужной, а поражение столь вожаделенным. Пусть бы его руки сломали мои слова, победоносно наплевав на них, с торжеством победителя снисходительно не придав им ни малейшего значения. Пусть бы они ещё крепче сжали мою талию, овладевая, нанесли сокрушительное поражение моей лицемерной чести, разорвали и сбросили ниц её лживые одежды, обнажая исподнее и сокрытое от глаз правды. Пусть бы моё оправдание не превратилось так буднично в мою победу.

Я простояла, не шелохнувшись, ещё не веря, что всё закончилось, и ничего из будоражившего мысль малое время назад не обрело хоть толику яви, до того, как возвратились Бородин и Ленка, а потом будто очнувшись.

«Ты – дрянь, Юля. Ты была на краю пропасти, – сказала сама себе. – Как бы ты потом смогла бы смотреть в глаза Максусу?».

– Серёг, наша победа подошла к концу, – неповоротливым языком выговорил Бородин. – Что будем делать?

– Пиво будем пить, – ухмыльнувшись горько и коротко, еле-еле, ответил Серёжа.

– The end! La fin! Мы с нашими союзниками убили всё немецкое пиво в нашей палатке.

– Теперь русское будем убивать. И пусть мы изначально обречены на поражение, вступим в последний бой бесстрашно. Мёртвые сраму не имут.

– Серёг, вы, если хотите, умирайте, – остудила его порыв Ленка, – а мы с Юлькой, пожалуй, пойдём.

– Женщин отпускаем, – чуть смутившись, согласился он. – Им ещё детей рожать...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.